

**СИН
ТАК
СИС**



28

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

28

ПАРИЖ

1990

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Л. Баткин, Л. Богораз,
Т. Венцлова, Ю. Вишневская, И. Голомшток,
А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская, П. Литвинов,
М. Окутюрье, В. Турчин, А. Френдли, Е. Эткинд**

Московский представитель журнала – Татьяна ТОЛСТАЯ

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1990

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

Вл. Новиков

НЕУМЕСТНОЕ

В России зло живет и множится в социальных формах, а добро всегда индивидуально. Может быть, это не только в России — не знаю.

В индивидуализме признаваться неприятно, да и не принято у нас. А взять бы да и посчитать отдельно, что сделано индивидуалистами и что — общественниками. Любопытная бы вышла статистика.

"Индивидуум" означает "неделимое". Неделимый организм скептика, затворника, узкого специалиста живет себе для себя, крутит свой перпетуум-мобиле, глядишь — к моторчику этому уж и подключили систему, и какой ни на есть ток идет по проводам. А общественник — он, сердешный, всего себя людям отдает на корню, идет на расхват, рвут его на части — иной раз самому себя ему жалко станет, и тогда он из своего многократно разделенного существа ну хоть одну частицу для личных целей и припрячет, сэкономит. А частица та — это чаще всего амбиция и законная гордость — потихоньку взбунтуется и начинает понемногу все остальные к себе стягивать. Ведь, что ни говори, без царя в голове умного человека не бывает. Индивидуалист своему внутреннему царю откровенно подчиняется, а общественник его держит, так сказать, инкогнито. Вот такие два мира существуют, такие две системы — иных не встречал.

Пишу в ваш "Синтаксис", дорогая Марья Васильевна, поскольку к нему у меня душа лежит, а перед другими изданиями она как-то вскакивает и ежится. Сейчас по сути не стало разницы между тамиздатом и тутиздатом, и в "Литгазету" можно что угодно прокричать, но хочется не прокричать, а спокойно поговорить. Мне "Синтаксис" нравится тем, что он так невелик, человеческой пропорции соразмерен — как домик ваш в Фонтене-о-Роз. И мне гораздо приятнее в частном доме, как говорил один замечательный персонаж, чем в журнале-небоскребе с миллионным тиражом, в журнале-конторе, где у самых хороших людей поневоле делается служебное выражение лица.

Я бы еще сравнил наши московские журналы с коммунальными квартирами, где живешь, избегая общения с соседями. Ну, заходите вы, к примеру, в "Знамя". Дверь, то бишь обложку, откроет вам Умывакина. И запоет:

Над родимой землей, над Рассеею,
— будет этому край или нет? —
лишь затянут: "А мы просо сеяли...",
"А мы вытопчем!" — грянут в ответ.
Или, вправду, беспамятным лыком мы
шиты вкривь, на авось, абы как?
Или мало позора помыкали
по судилищам да кабакам?

Мысль, может быть, и справедливая, хотя плоская, но звуки-то, звуки — язык сломаешь от этой артикуляционной пытки, этой какофонии! И вот нате вам — транслируется в миллион экземпляров, хотя тут и одного, по-моему, много.

— А, вы к этому..." — говорит вам соседка моя по журналу и показывает в самый конец коридора.

Что за эстетизм, неуместный в наше время? — строго спросит кто-нибудь, услышав мои безответственные речи. А что, я забыл сказать, что я вообще эстет? И потом это время еще немножко и мое, можно мне его прожить сообразно с моею природою? Где найти своему оскорбленному эстетическому чувству уголок? И многопартийность долгожданная мне не в жилу, ибо навсегда останусь не кадетом, не эсдеком — эстетом. А такой партии даже за границей нет.

Оно, конечно, брюзжать по адресу прогрессивной прессы — это рубить сук, на котором сидишь. Но может быть, и не стоит нам так уютно сидеть на суках одного и того же дерева прогрессивной культуры, которое вот-вот лопнет от тяжести? Может быть, надо спуститься вниз и посадить новые деревья?

В России прогрессисты всегда спорили друг с другом, были друг другом недовольны — и я не вижу оснований для отказа от этой славной традиции. А черную прессу просто не читаю, нет сил. Никакой там почвы не нахожу для полемической мысли, хотя по весьма странному недоразумению нынешних сторонников военно-православного коммунизма "почвенниками" называют (бедные братья Достоевские, бедные Ап. Григорьев со Страховым!). Другое дело — на своей прогрессивной почве, в своей либеральной тарелке.

Ну, вот, например... Как историк литературы я знаю, конечно, что всякого рода эпитафии и стихотворные поминки — жанр по преимуществу безнадежный. Но история повторяется вновь и вновь. Умер Сахаров. Человек века — его право на это звание уже не оспорят ни Ленин, ни Сталин, ни Гитлер. И вот стихи, причем очень достойного, заслуженно уважаемого поэта:

Смертельной бомбы водородной
Он был страдающим отцом...

Тут просто само собой напрашивается начало типа:

Служил Гаврила в институте,
Гаврила бомбу создавал.

Ладно, а что дальше?

Бессмертной думы всенародной
Он был твореньем и творцом.

Нет, тайну Сахарова не разгадать таким образом. И пресловутая бомба, и надуманная "всенародная дума" — слишком элементарны. Тут что-то гораздо более индивидуальное. Тут человек, проникший в самую глубину себя, и эта глубина диктовала все его поступки. Это — если всерьез.

Читаю другого очень уважаемого прогрессивного поэта, рассказывающего нам о европейских впечатлениях:

Крест белый на кровавом поле —
Швейцарский флаг.
Прекрасный флаг, но в главной роли
Не флаг, а франк.

И вывод соответствующий:

И только равенства и братства,
Как всюду, нет...

С такими чеканно-глобальными суждениями разве поспоришь? Это социальное мышление, едва ли автор снисходил до разговора с отдельными частными лицами. С какой-нибудь женщиной, собирающей свои франки для того, чтобы поехать в Армению помогать пострадавшим от землетрясения. Это ведь все индивидуальные случаи, с поэтической точки зрения нетипичные...

Николай Николаевич Евреинов всю человеческую деятельность считал театральной. Его идеи точно ложатся и на наше время. Только театральность нашего времени — неоткровенная, скрытая, уверяющая всех, что маска насуспенной серьезности — это и есть лицо.

Выступает по телевизору Валентин Распутин, защищает Байкал. Но телезрители-то Байкалу кроме добра ничего не желают. Неужели член президентского совета не может там, наверху, добиться закрытия целлюлозного комбината? Поставить ультиматум в конце концов. Да нет, борьба важна и ценна как процесс, бесконечный. Театр, театр...

И справа театр, и слева... Громогласные резолюции нашего "Апреля"... Шестидесятничество доигрывает свою роль, собирая последние силенки, чтобы успеть получить причитающуюся порцию аплодисментов. Новых деревьев оно не сажает.

Но — не осуждаю никого. Такова уж специфика нашей жизни. Все чего-то требуют, ждут друг от друга, жаждут чего-то глобального. Вот тебе трибуна, микрофон — и тут уж просто невозможно не сказать пошлость.

В чем сила сегодняшних "правых"? Они сплотили в своих рядах людей, которым страшно, просто невозможно остаться наедине с собою. Есть тут и поэты, не написавшие за всю свою жизнь ни одного талантливого стихотворения, есть и критики, не знающие литературной грамоты даже в школьном объеме... Эти не дрогнут, им отступать некуда (отступить ведь можно только в себя, в свою внутреннюю жизнь).

А если
в партию
сгрудились малые —
сдайся, враг,
замри
и ляг!

Недооцениваем мы все-таки невольные пророчества Маяковского! Партия "малых", как она там ни назовется — РКП (расистская коммунистическая партия) или по-другому, еще себя покажет! Может быть, мы еще настоящего коммунизма не видели: все прошедшее было только призраком и присказкой, а страшная сказка — впереди?

Но разрушительному коллективизму можно реально противопоставить только созидательный индивидуализм.

С годами все больше склоняешься к лев-толстовскому фатализму: "Царь есть раб истории". И для меня все эти постоянно склоняемые имена — только суффиксы: — ов, -ев, -ын, -ин. Все же наши споры о том, кто голова, а кто нет, сильно напоминают разговоры о футболе. И опять же — театральная условность, неглубокий игровой азарт при погружении в видеосъезды и телесесии...

Родина переворотов, родина переименований... Нигде в мире так не фетишизировалось слово, имя. Переименовали когда-то все — лучше не стало. Сейчас балдеем от обратного процесса: ах, Остоженка, ах, Рождественка. А пройдешься по этим улицам — ничего подобного. Какая же она Рождественка, если ведет не к Рождественскому монастырю — его нет, — а к большому партийному дому на Трубе. Нет, Жданова была, Жданова и осталась.

А город бедный опять назовут Петербургом. Я, конечно, не против. Только, боюсь, он на самом деле Ленинградом останется — в силу вечного нашего унынья и лени (у Маяковского случайных рифм не бывает!). Пожелает ли святой Петр вернуться туда, где все превращается в прах?

И еще все твердят: надо разрушить *систему* (уже сама система это повсюду кричит) и создать новые *структуры*. Да, все переименовываем бегемота в гиппопотама и наоборот. Но системы структурны, а структуры системны — и все идет по кругу. Толковые карьеристы спешно меняют номенклатурный партбилет на депутатский мандат. Не успеем оглянуться и та же номенклатура (по-русски: роспись имен!) благополучно переименуется.

Что до меня, то я номиналист и, как Фауст Маргарите, повторю: Name ist Schall und Rauch. Никогда не пойму, например, этого многотомного теоретизирования насчет социализма и коммунизма, всех их разновидностей и оттенков. Смотрю в корень слов, перевожу, получается в обоих случаях: общественщина. Это мне не подходит: я элемент антиобщественный.

Включишь приемник, телевизор — сразу слышишь: "крынку", "крынку". Что это за "крынка" такая? Нет, это не парного молока предлагают, это сочетание теперь такое самое частотное: "к рынку" — в устойчивом дательном-стремительно-недосягаемом падеже. В отличие от Центрального и Черемушкинского этот таинственный рынок, как я понимаю, — эвфемизм пресловутого изруганного капитализма. Что бы там ни писали приближенные к престолу экономисты: мол, не подумайте, ребята, что мы вас к капитализму ведем. Рынок — да, но капитализма не допустим. Такое табуирование, кстати, напомнило мне замечательную реплику из транспортного разговора двух женщин: "А она, такая-сякая, говорит, что у меня с ним флирт. Ну, уж чего-чего, а флирта не было. Все было, а этого не было". Капитализм — тоже слово. Капитальный — главный, от "капут" — голова. Что за грех — работать с головой? Да главное-то, что бояться особенно нечего: угроза капитализма не столь уж велика, наверное. Просто не получится у нас этот флирт. У слова "капитальный" в языке анатомов есть, между прочим, антоним: "каудальный", то есть тот, что ближе не к голове, а к хвосту. Вот у нас очень много "каудализма", когда все идет не через голову, а через... Шучу, конечно.

--- --- ---

А вообще-то, вдохновленные многолетней экономической безграмотностью нашего режима, мы все стали большими знатоками в этом деле. Вот уж и сам чувствую, что заговорил, как "великий эконом" и запросто сужу "о том, как государство богатеет" (в нашем случае: беднеет). Откуда мне знать, какая улица ведет к заветному рынку? И что я могу думать по этому поводу? Думаю я примерно то же, что Селюнин и Пияшева (убеждаясь их аргументацией и веря в честность их умов), только сам, конечно, ни черта в этом не понимаю. Каверин любил повторять: "У меня не политическая голова, у меня литературная голова". Теперь так никто не говорит. Впрочем, литературные головы у нас всегда летели не хуже политических.

Под гнетом власти роковой... А она у нас всегда была, есть и будет роковой. Рокократия. Впрочем, на терминологическую новинку не претендую: все ведь только звук и дым.

И что еще за нелепая терминологическая игра: дескать есть интеллигенты, а есть всего-навсего интеллектуалы! Это в наших-то условиях повальной неграмотности и некомпетентности! Лично мне ни одного ограниченного "интеллектуала", не дотягивающего до высот "интеллигентности", встречать просто не доводилось. А вот претендентов на звание интеллигента в высшем нравственном смысле, при этом не обремененных лишним умом и лишними познаниями, — теперь немало. Особенно в литературной среде.

Ни один страстный русский разговор не обходится без вечного мотива: антисемитизм, его итоги и перспективы. И уж весь "Синтаксис" №26 был этому посвящен, и уж мой однофамилец Владимир Новиков в журнале "Век XX и мир" (1990, № 3) выступил с острой заметкой "Русский миф" (он подписался: "кандидат филологических наук" — и опять совпал, как назло; Вадим Козовой даже написал мне из Парижа в полной уверенности, что заметка — моя), во многом перекликаясь со статьей Андрея Донатовича "Русский национализм", — а тема все неисчерпаема. Поделюсь с вами свежими впечатлениями на этот счет.

Рассказывают, на недавней конференции, посвященной Булгакову, зашла речь о том, что не стоит, публикуя дневники писателя, купировать нелестные его высказывания о евреях. С текстологической точки зрения здесь, наверное, другого мнения и быть не может: печатать надо так, как написано. Но по ходу обсуждения высказывались аргументы весьма своеобразные (поскольку передаю с чужих слов, то имен не привожу). Дескать, с позиций демократизма и плюрализма мы должны антисемитизм воспринимать так же непредвзято, как нелюбовь человека к рыжим или толстым.

Мне это показалось чересчур оригинальным, о чем перекинулся словом с двумя участниками той конференции — очень квалифицированными и эрудированными литературоведами (среди которых, замечу для полноты картины, не менее полутора евреев, то есть 75 %). Оба высказались за экологически бережное отношение к антисемитизму как литературному феномену.

— Пойми, старик, субстрат антисемитизма входит как необходимый элемент в русскую литературу девятнадцатого века, — сказал один из них.

Что ж, я, кажется, понял. Понял заодно, почему я прохладно отношусь, скажем, к творчеству Куприна: тут необходимо, наверное, субстрат алкоголизма. И к музыке Чайковского я равнодушен, по-видимому, ввиду отсутствия голубого субстрата...

Да, широк русский человек — я имею в виду русскость не анкетную, а духовную, культурную. И все же — я немножко бы сузил. Говоря без шуток, разрушительные инстинкты в защите не нуждаются: "на их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов". Национализм и расизм — могучий стадный инстинкт, который может пробудиться в любом человеке, будь то даже Гоголь, или Достоевский. И с позиций социальных с этим "вечным зовом" спорить довольно трудно. Веской антитезой тут может быть только этика индивидуальности. Только индивидуум может подняться над стадным, в том числе и в самом себе. А Гоголь, Достоевский, Булгаков, простите за трюизм — это все-таки индивидуумы прежде всего.

Так что, может быть, закроем наконец этот вопрос простым ответом? Надо, надо умываться по утрам и вечерам. Надо,

надо видеть в человеке его уникальную личность независимо от этнической природы.

Не лучше ль о литературе?

В застойные годы возник глагол "осточубилеело". Тогда мы жили от юбилея до юбилея, паузы не допускались. Недавно идеологический аппарат решил тряхнуть стариной и высосал из пальца юбилей Шолохова — 85-летие. Наверное, чтобы отвлечь массы от по-настоящему круглого "полтинника" другого нобельца — Бродского. Герой одной чеховской новеллы так усердно всем доказывал, что не целовал кухарку, что в конце концов схлопотал по физиономии от супруги: дескать, грешить грехи, но зачем же всех об этом оповещать? Ораторы в Большом театре так усердно атрибутировали "Тихий Дон" Шолохову, что смотревшие этот вечер по телевизору зрители, доселе не ведавшие сомнений, могли подумать недоброе. О "Поднятой целине" почти ни слова не было сказано: может быть, не Шолохов ее написал? А что, можно сбачать вполне сенсационную книгу с такой установкой!

Шолохов — суперзвезда отечественной пропаганды и хорошо поставленной рекламы. Столько раз мы читали конструкции типа "Ахилл и Гамлет, Фауст и Григорий Мелехов", — что они начали казаться бесспорными. Пусть "Тихий Дон" и шедевр, но зачем присваивать ему какое-то чемпионское место? В русской литературе двадцатого века — десятки шедевров, и каждый занимает первое и единственное место в своем уникальном разряде.

И вообще: система художественных ценностей выстраивается не по вертикали, а по горизонтали. Скажем, Даниил Хармс гениален, и нет никого ни выше, ни ниже, ни над, ни под. Всякие же вертикальные иерархии — перенесение тоталитаризма в эстетику.

С эстетической точки зрения противостоят все регалии и премии — Сталинские, Ленинские, Нобелевские. Да, да, и Нобелевские — тоже.

Непостижимый парадокс. Нам досталась страна с такой роскошной горизонталью! Какой плюрализм здесь можно вернуть, сколь маленьких и не похожих друг на друга домиков

выстроить! А мы все громоздим нелепые непрерывно рушащиеся вертикальные вавилоны...

И зачем у нас все время говорят, что индивидуалист — это тот, кто на всех плюет? Это общество наше на всех плюет, на каждого в отдельности. Поэтому так опасно быть общественником: на всех времени и сил не хватит, кого-то неизбежно оттолкнуть придется.

У меня всегда есть время для человека, который хочет поговорить о себе со мной. Но именно о себе и именно со мной.

Только не в утренние часы, которые лучше проводить в своем внутреннем мире.

Я верю только в глубину, которая есть в каждом человеке. Даже в литераторах "правой" ориентации. Немногие талантливые из них губят себя болезненной амбицией, остальные могли стать добрыми и хорошими людьми, если бы избрали другую профессию. Писательство ведь портит характер — даже в одаренном человеке, а уж при отсутствии дара...

Больше всего сейчас тревожит поверхностность так называемых позитивных процессов.

Время пристает к нам все с одним и тем же бессмысленным вопросом: какая нам нужна система, какой нужен социальный строй? А можно так, чтобы это был строй не социальный? Строй, при котором все пребывали бы главным образом в своих внутренних мирах. Поменьше тереться бы друг о друга — меньше будет трещин, надломов, не вспыхнет искра и не разгорится из нее всепожирающее пламя. Чтобы каждая встреча моя с другим человеком, со всеми людьми была нечаянной радостью, чудным мгновением, напряженным без враждебности взаимодействием миров. Чтобы не было ненужных, пустых, разрушающих прикосновений душ, умов, рук и губ. Вот какой строй — мой.

И я не хочу давать ему имени.



Москва

Михаил Золотоносов

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ **Ленинградские заметки**

"Национализм, — писал Джордж Оруэлл, — это голод по власти, закаленный самообманом".

Легкий голод можно утолить всего за пятьдесят копеек: в самом центре Ленинграда около величественного православного собора, оскверненного атеистами и ныне бездействующего, свободно продается "Катехизис для евреев, проживающих в Советском Союзе". По форме — инструкция для членов подпольной организации, по объему — восемь страниц через полтора интервала.

Цитаты:

"Создавайте свои коллективы и этими коллективами отталкивайте и выталкивайте неевреев... Мы создаем коллективы для того, чтобы гой не мешали нам жить по-своему... Русские не способны глубоко мыслить, анализировать, делать глубокие обобщения, они подобны свиньям, которые живут, уткнувшись рылом в землю, не подозревая, что есть небо... Русские глупы и грубы. Свою глупость и грубость они именуют честностью и порядочностью, принципиальностью... Кладите предметы на их вещи, наступайте им на ноги, наваливайтесь на них, дышите им в лицо, разговаривайте громко. Пусть они постоянно ощущают Ваш локоть своим боком... Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пытается разоблачить Вас. Клейте им

ярлыки антисемитов — и Вы увидите, с каким удовольствием остальные подхватят эту версию. Вообще-то русские все антисемиты... Пусть гои обеспечивают черновую, материально-техническую работу — базу нашего творчества. Пусть они следят за чистотой наших помещений и охраняют плоды наших трудов. Пусть они будут не выше вахтера или уборщицы. К творчеству в виде исключения можно допускать гоев только нерусского происхождения. Не допускайте к этому русских!!! ...Вынуждайте их (молодых и перспективных русских. — М.З.) жениться на еврейских женщинах и только после этого открывайте им зеленую улицу... Отныне их зарплата — наш национальный доход... Берите себе в жены красивых и здоровых русских женщин. Пусть они принесут нам здоровое потомство, пусть они улучшат нашу породу..."

Цель документа ясна: натравить одних на других, создать эксцитативный образ врага, вызвав зоологическую ненависть к евреям, заставив читателя поверить, что евреи — в отличие, скажем, от русских, чувашей и белорусов — сплочены в мощную тайную мировую организацию, задача которой — покорить весь мир и, в частности, создать на российской земле "новый Сион". Именно для создания образа врага в уста мифических евреев и вложен безумный монолог, наполненный ненавистью к русским. Он-то и должен доказать, что так называемая "руссофобия" (так некоторые именуют ненависть к русским; в переводе "фобия", однако, означает не ненависть, а страх) существует не только в текстах И. Шафаревича и на страницах альманаха "Кубань". Он-то и должен заставить их, русских, наконец, объединиться в ответ на объединение евреев.

"Вставайте, люди русские!" — зовет "Катехизис".

Но как все это напоминает писания русских фашистов, которые в 1927 году выпустили в далеком Шанхае сборник "Еврейство — Сатанизм", где на странице 139 было написано: "Тайное еврейское правительство — Всемирный еврейский кагал — существовало и существует. Оно железной рукой правит евреями и с дьявольской хитростью проводит в жизнь кровавые планы истребления гоев-христиан и порабощения мира" (с. 139).

"Человечество стоит перед дилеммой: или еврейство с его изуверским учением должно быть уничтожено, или весь мир обратится в покорного раба торжествующего жида!" (с. 152).

Вот с кем (цитировалось издание так называемой рабоче-крестьянско-казачьей оппозиции – русских фашистов) духовно породнились ленинградские национал-патриоты. Впрочем, уже более ста двадцати лет убеждает во всех этих догмах антисемитская литература на русском языке. Книги выкреста Ф.Брафмана "Еврейские братства, местные и всемирные" (1869) и "Книга Кагала" (1882) впервые внесли в русское общественное сознание мысль о том, что евреи всех стран объединены в Alliance Israélite Universelle с центром в Париже, что именно эта организация угрожает христианскому миру и особенно России. Не только неизвестные авторы, но и крупные литераторы принялись "художественно осваивать" эту тему: вслед за Ф.Достоевским потянулись Н.Вагнер, В.Крестовский, Е.Шабельская... В.Розанов сладострастно припал к иудейской мистике: "Юдаизм полон тайн, притом каких-то зловещих, от которых "уразумевающие дело" даже сходят с ума" (1914). Эти тайны "разоблачил Всеволод Крестовский в романе "Тьма Египетская" (1888): "...Старайтесь и заботьтесь о приумножении своих богатств, своего материального благосостояния, – призывает евреев некий раввин-сатанист, – овладевайте всегда, везде и повсюду биржею и торговлею; арендуйте земли, уголья, дома, заводы и фабрики, арендуйте и, коли можно и насколько можно, высасывайте из них все, все, не жалея, – все равно ведь не ваше пока! Рядом с этим овладевайте печатью, журналистикой, овладевайте законодательством и для этого стремитесь в качестве представителей и инако проникать в парламенты, в палаты... Забирайте себе суд, адвокатуру, науку и искусство во всех его видах и формах..."

Тщеславие литературоведа может быть удовлетворено: найдены источники текста "Катехизиса", продающегося в 1990 году у Казанского собора, его прототипы столетней и менее давности. Именно в толще истории скрыто объяснение сегодняшнего антисемитизма: составной частью менталитета советского человека он стал в результате 120-летнего *страха* (фобии) русских перед "дьявольской", "сатанинской" нацией, якобы вознамерившейся русских извести. "Жид идет!" – в панике восклицал В.Крестовский в 1890 году.

"Жид идет!" – в панике и страхе кричат в 1990 году Д.Васильев, Н.Андреева, И.Сычев, А.Романенко, В.Белов, Н.Лысенко, Е.Крылов и другие.

”Этот страх перед призраком еврейства, в течение столетий переходя из рода в род, все более укреплялся; он привел к известному предрассудку, ...подготовил почву для юдофобии” (Пинскер Л.С. Авто-Эмансипация! Спб., 1898. С. 12-13).

Юдофобия (страх перед евреями) породила агрессивную реакцию — антисемитизм; он — страх перед русскими (руссофобию), — он — новую ответную реакцию, новую ненависть... Круг страха и ненависти замкнулся.

Перестройка не пригасила, а выявила взаимную неприязнь: то, что вошло в генофонд нации, уже не могло не проявить себя с все возрастающей силой. И то, что происходит сегодня, нетрудно было предвидеть. ”Вы любите говорить о возрождении общества, — замечал высокопоставленный писатель Хомятов в пьесе ”Споры о Достоевском” (1973) Ф. Горенштейна. — Но ведь возрождается и реакционное вольнодумство. Раньше оно лакействовало перед сильной властью, стараясь исподтишка толкнуть ее в нужном направлении, но сейчас оно тоже от контроля освободилось, оно тоже хочет говорить в полный голос и дышать полной грудью...”

Это было написано в 1973 году. Через тринадцать лет прозвучал первый громкий сигнал антисемитизма периода перестройки — переписка В. Астафьева и Н. Эйдельмана, возникшая еще в ту пору (август — сентябрь 1986 г.), когда ”ледяной дом” только-только начал таять. И уже тогда бросилась в глаза традиционная логика: ”У всякого национального возрождения, — рассуждал В. Астафьев, — тем более у русского, должны быть противники и враги”.

Должны быть — если их нет, то как бы и возрождения не получится серьезного, всамделишного.

За короткое время возникли, оформились и активно вступили в борьбу шовинистические, по существу, фашистские русские организации, конечной целью которых стала не ассимиляция евреев (соответствующая их христианизации, крещению в дореволюционное время), а изгнание их за пределы СССР: выгодные должности, которые могут при этом освободиться, являлись главной приманкой для проводников этой политики. Не случайно В. Астафьев сразу поднял вопрос кадровый: ”В своих шовинистических устремлениях, — ерничал он и юродствовал, — мы можем дойти до того, что пушкиноведы и литературоведы у нас тоже будут русские, и, жутко подумать,

собрания сочинений и всякого рода редакции, театры, кино тоже "приберем к рукам" и, о, ужас! о, кошмар, сами прокомментируем "Дневники" Достоевского".

Иначе говоря, советские антисемиты хотели бы повторить "польский вариант" поголовного выселения, но как дымовую завесу при этом выставили нереализованность русского национального сознания (вполне реальную), заметно пострадавшего за годы советской власти от имперской политики пресловутого "интернационализма". На этой волне руководителям и идеологам шовинистических организаций удалось не только "всколыхнуть" общественное мнение, но и привлечь на свою сторону немало людей. Этому способствовало развитое чувство зависти у советского человека, комплекс неполноценности, навыв искать внешнего врага (чтобы снять вину с себя) и внезапное снятие тех ограничений на учебу и служебное продвижение для евреев, которые государство само и очень тщательно обеспечивало в "доперестроечные" времена. Предоставление *равных возможностей*, равного старта сразу же было воспринято как атака "мирового сионизма" (см. об этом еще в статье Ю.Ларина, напечатанной в сб. "Против антисемитизма", который вышел в Ленинграде в 1930 г.): преимущества, которые предоставляло "бесплатно" полученное в момент рождения русское происхождение, как выяснилось, многих устраивали и многими воспринимались как справедливое состояние (справедливость — важнейшее для русского менталитета понятие). Количество этих "многих" (и даже динамику роста) можно оценить с помощью выборной статистики. Так за М.Любомудрова, единственного "зоологического антисемита" среди кандидатов на Съезд народных депутатов в Ленинграде 14 мая 1989 года проголосовало 7738 человек (М.Любомудров баллотировался по национально-территориальному округу и эти семь тысяч приходились на пятимиллионный город).

4 марта 1990 г. на выборах по национально-территориальным и территориальным округам в Верховный Совет РСФСР за кандидатов, шовинистическая ориентация которых была известна достаточно хорошо (все они выступали по ТВ и не стеснялись обнародовать свои программы) проголосовало в целом по Ленинграду около 184 тысяч человек. И то, что ни один из шовинистов не был выбран, служит не слишком большим утешением.

Сказанное, конечно, не означает, что в Ленинграде проживает 184 тысячи активных погромщиков; но из этого наверняка следует, что эти люди, по крайней мере, *обмануты* лозунгами о возрождении русской культуры и русского национального сознания, что эти люди не разглядели очередного наступления на них советского сверхгосударства. Ибо верным симптомом такого наступления стало требование гарантий именно у государства, с которым выступили практически все шовинистические организации. А при таком подходе уже не свободное соревнование национальных культур и людей различных национальностей, а искусственное ускорение одних и подтормаживание (или полная остановка других) видится как идеальное положение. Не случайно за процитированным выше "Катехизисом" стоит требование ограничить доступ евреев в различные учреждения, запретить занятие определенных должностей (сегодня среди народных депутатов евреев очень мало), требование жестко регулировать "смешанность" браков (рассматриваемых как национальная измена, что приятно напоминает о национал-социализме). По существу, перед нами требование тотального государственного управления всеми национальными аспектами (простирающегося вплоть до уровня биологии), с которым многими связываются надежды на улучшение. Между прочим, именно этого добиваются активисты "Памяти", напуганные тем, что в результате отмены некоторых запретов, действовавших ранее, развивается еврейская культурная деятельность, являющаяся с точки зрения тоталитарного стиля мышления (присущего идеологам "Памяти") *бесконтрольной*, ибо есть следствие "многочисленных низовых инициатив" (Юхнева Н.В. Выступление на собрании учредителей Ленинградского еврейского культурного общества 19 марта 1989 г.г.; Хашахар (Таллинн) 1989, 15 мая, №8 /9/). Говоря о "Памяти", можно, пользуясь терминами Н.Бердяева, сказать, что речь идет о политическом антисемитизме (см.: Бердяев Н.А. Христианство и антисемитизм), целью которого является сохранение централизованной власти перед лицом внешней (еврейской) опасности. Чем она выше, тем настоятельнее и потребность в той структуре, которую мы унаследовали от сталинщины, тем важнее ее сохранить и упрочить. Действительно, "национализм... неотделим от стремления к власти", "это голод по власти".

В выпущенной ленинградской "Памятью" листовке "Кри-

зисное состояние триединой русской нации. Главные проблемы” в тезисе пятом подчеркивается: ”Тотальная дискриминация русских в науке и сфере искусства”. ”...Официальные публикации сообщают, что 45% докторов и кандидатов наук, по отношению ко всем остальным народам СССР, занимает национальность, которая по численности составляет 0,69% от всего населения, — евреи” — из письма В. Брюсовой. (Необходимое примечание — в эти официальные 45% входят только евреи ”по паспорту”, евреи, маскирующиеся русской фамилией и национальностью, — не учитывались! А сколько их? ”Легион имя мне, потому что нас много!!!”

Нет, не в том дело, что евреи в листовке именуются ”бе-сами”. И не в том, что *официальные* данные по национальному составу докторов и кандидатов отсутствуют (т.е. 45% — величина либо фальсифицированная, либо засекреченная). Симптоматичен сам пересчет евреев ”официальных” и призыв выявить замаскировавшихся ”масонов” (термин безумного А. Казинцева), скрывшихся от *русско-государственного учета*. Симптоматичны и другие предположения, основывающиеся на том, что национальное сознание русских не может полноценно реализовать себя иначе, как только с помощью средств всепроникающего государственного устройства и жесткого регулирования, в рамках еще более тоталитарного огосударствления. Именно для этого нужна еще одна компартия (РСФСР), т.е. еще один ЦК и аппарат, еще одна столица, еще по одной Академии наук и художеств и т.д. Симптоматично и то, что все советские евреи рассматриваются как участники единой организации (в вульгарном сознании — сионистской организации). В этом всем и проявляется ”гипергосударственное” мышление, видящее общество как действующую армию и неспособное представить общность (нацию), не сплоченную в ”отряд” во главе с генералом, не жестко регламентированную. Отсюда и энергичное требование по ”доорганизации” русских (которых у нас большинство, стало быть, это распространится едва ли не на все население России, РСФСР), по созданию дополнительных государственных и полувоенных форм их сплоченности, по крайней мере, равномошной якобы существующим более ста лет тайным еврейским (”сионистским” или ”масонским”) организациям.

Разумеется, не удивительно, что общества, формулирующие такие требования, пользуются приязнью и нескрытой под-

держкой партии и всех связанных с ней бюрократических структур: мощное тоталитарное государство, отнимающее у человека как можно больше самостоятельности и "самосознательности", — их общая цель. Евреи как пугало нужны и тем, и другим: с помощью "еврейской угрозы" можно сильнее закабалить своих, напугав чрезвычайной опасностью.

Именно по этой причине многие требования "памятной" листовки совпадают с требованиями, вошедшими, скажем, в "Резолюцию митинга ленинградских коммунистов" (митинг состоялся 22 ноября 1989 г. — знаменитый митинг озлобленных аппаратчиков во главе с ничтожным Гидасповым): и там, и тут — рычание *против* "некоторых" газет, журналов и телепрограмм (можно не сомневаться — одних и тех же), *против* "псевдодемократов", атакующих святое святых — партию; *за* принятие "неотложных чрезвычайных мер по стабилизации политической и экономической ситуации"; *за* создание парторганизации РСФСР (см.: Ленинградская правда. 1989. 24 нояб.).

Антисемитские призывы находят поддержку у носителя "массового сознания". Причина "государственно-националистического" мышления скрыта в толще столетий, проведенных Россией под властью самодержавия. Как верно заметил Михаил Широкий, "в России национальное движение среди русских отодвинулось в тень его фальшивым "аналогом" — великодержавным шовинизмом правящих кругов, подменявших заботу о национальном благе русского народа заботой о целостности и расширении империи" (Широкий М. Перестройка, национальная проблема в СССР и русское патриотическое движение. Вестник РХД, 1988, 2/153/, стр. 177-178).

"Имперская" прививка, православно-полицейский национализм, полагаю, и предопределили те организационные "великодержавные" формы, которые ряд шовинистических организаций предлагает уже в наши дни в качестве средства для реализации русского национального самосознания, а "массовый человек" с восторгом подхватывает. Однако трагедия в том, что проблема нереализованности русского национального сознания существует, но предлагаемое средство лишь способно увести в противоположную сторону, ибо сверхгосударство всегда имеет свои собственные, "надчеловеческие" цели и ориентиры, политизируя едва ли не всякое разрешение (или запрет) на проявление национальных чувств (и один из самых

трагических примеров — концепция "старшего брата", которая нанесла существенный урон менталитету и репутации русских, но с помощью которой до сих пор реализуется имперская политика Центра). То, что политизировано, — то затем нуждается в санкциях государства, то становится собственностью и отнимается у человека.

Игнорируя, что угроза всякому национальному сознанию (в том числе, конечно, и русскому) исходит от сверхгосударства, безразличного к интересам отдельного человека, идеологи националистических обществ борются не с государством (включая КПСС, КГБ, аппарат) за то, чтобы национальное сознание стало личным делом каждого, личной заботой, а государство никак не регламентировало бы и не легитимизировало бы эту сферу, но борются за государство, только еще более мощное и более "правильное". В их понимании это означает *сильную руку и избавление от евреев* как врагов стабильности. Вот типичный образец такого рассуждения: "Полуевреи, четвертьевреи, восьмая часть и так далее еврея говорит: "Конечно, я русский!" Очень хорошо. Он записывается как русский. Вследствие этой механики по нашим подсчетам у нас сейчас примерно 17 миллионов "русских", которые лютой ненавистью ненавидят все, связанное с русскими и славянами. (Аплодисменты.) Эти ядра и составляют сегодня основу Демократического союза, Народного фронта" (Из выступлений Ю.И.Макурина на митинге общества "Россы" 8 октября 1989 года в Ленинграде около кинотеатра "Меридиан").

Вывод ясен: санкция, освобождающая от евреев, автоматически ликвидирует и все "антигосударственные" неформальные образования, портящие нервы ленинградскому обкому партии. Ненависть к Народному фронту Ю.И.Макурина (НФ победил-таки на муниципальных выборах в Ленинграде весной 1990 г.!) сопоставима с отношением секретаря обкома Ю.Денисова: по его мнению, НФ олицетворяет собой силы, рвущиеся к власти для того, чтобы устремить общество к капитализму, НФ — главный враг (выступление на объединенном пленуме обкома и горкома. Ленинградская правда, 1989, 23 нояб.). При этом Ю.Денисов ни слова, разумеется, не сказал о фашистующих обществах, вольготно чувствующих себя в Ленинграде, тех обществах, которые, отнюдь не посягая на власть обкома, именно с сильным *мононациональным* государством, с нацио-

нал-социализмом связывают надежды на русское национальное возрождение, и именно к государству (как когда-то к родовому) апеллируют (стоит ли удивляться после этого, что партийные власти не препятствуют им в оголтелом этатизме).

”Активно участвовав в изничтожении русского народа, сегодня еврейские шовинисты преданно служат системе и бюрократии. Членов партии среди евреев пропорционально вдвое больше, чем среди русских! Утратив господствующую роль в правящей прослойке, евреи многократно усилили свое влияние в идеологической сфере, особенно в средствах массовой информации, и несут поэтому вместе с партией всю ответственность за трагедию нашего отечества. Ныне они сумели стать главными ”прорабами перестройки”, которую вполне сознательно направляют в тупик, чтобы вызвать недовольство и ради своей выгоды разжечь новую братоубийственную смуту (в которой они как меньшинство неизбежно погибнут? — М.З.). Для этого они ретиво действуют и на другом фланге — среди левых неформальных объединений: Демократического союза, Народного фронта и разных клубов. Ловко спекулируя на законных требованиях людей, еврейские националисты (путаница в элементарном: еврейскую национальность подменили еврейским национализмом. — М.З.) опять лезут в революционные вожди с целью разлить и расшатать общество. Но нам не нужны новые Троцкие, Володарские, Урицкие, не нужна новая братоубийственная смута! Нам нужна Россия — великая, свободная, нравственная держава! Так давайте же без них обдумывать и решать судьбу и будущее нашей Родины! К этому Вас призывает Национально-Патриотический фронт ”Память”... (К русским студентам: Листовка /сент. 1988 г./ На листовке указаны фамилии авторов: Н.Ф. Жербин и Д.Г. Демидов).

Евреи оказываются идеальной ложной целью, позволяющей идеологам ”Памяти” оставить нетронутой идею сверхгосударства и лишь декларировать, что она подверглась искажению, народ русский — уничтожению, а само государство было устроено *неверно* по причине козней все тех же евреев. Именно по этой причине главной оказывается задача обнаружить евреев (ибо порчу они наводят и сейчас), а государство со всеми его бюрократическими структурами и чиновнической обслугой (включая парткомы всех уровней) еще больше усилить: ”расшатывание” сталинско-брежневского общества, по мнению

"Памяти", недопустимо, и желают этого только враги-сионисты, "жиды".

В обращении оргкомитета Национально-демократической партии говорится еще более откровенно: "Мы полагаем, что серия политических провокаций (расправа с мирной демонстрацией в Тбилиси, бездействие при погромах в Сумгаите и Фергане) срежиссирована мафиозно-сионизированными структурами и направлена на дискредитацию и раскол армии, МВД, КГБ, т.е. на создание предпосылок к гражданской войне и анархии. Не снимая ответственности с этих организаций, а также с отдельных членов КПСС за тоталитарное прошлое нашей страны, мы тем не менее считаем, что они сегодня являются определенными гарантиями от сползания страны к анархии и гражданской войне..." (Крылов Е., Перин Р. Забвение прошлого грозит его повторением: Обращение организационного комитета Национально-демократической партии (Л., 1989). И здесь же предложены шесть пунктов, которые, по мнению авторов, обеспечат порядок, хотя, разумеется, и не дадут национальному сознанию (в том числе и русских людей) стать *личным делом* каждого, сферой, защищенной от вмешательства государства, партии, МВД, КГБ:

1. Принятие нового закона о выборах, гарантирующего пропорциональное представительство наций и пресекающего национальную мимикрию, основанного на производственно-территориальном принципе.

2. Широкое освещение в органах массовой информации национального аспекта послеоктябрьской трагедии.

3. Предоставление избирателям права получать исчерпывающую информацию о фактической национальности кандидатов и членов их семей.

(Так, например, власти совместно с шовинистами распустили в период предвыборной кампании весной 1990 года слух, что А. Болтянский, баллотировавшийся как кандидат в народные депутаты РСФСР, по национальности еврей. Это не соответствовало действительности, но характерен сам прием "компрометации". Истинная причина недовольства А. Болтянским заключена в том, что он — председатель Социал-демократической ассоциации. — М.З.)

4) Автоматический отзыв депутатов (в т.ч. уже избранных), скрывших свою фактическую национальность или не выполняющих свои предвыборные обещания.

5. Десенизация средств массовой информации для обеспечения гласности в национальном вопросе. Немедленное предоставление в качестве первого шага Российского телевизионного канала информации.

6. Опубликование подлинного национального состава государственных и общественных структур на протяжении последних 70 лет и их вклад в развитие народного хозяйства, науки и культуры страны.

Процитированный документ характерен программной антиконституционностью, антидемократичностью (выборы не по месту жительства, а по месту работы, под надзором администрации – выдумка партаппарата Ленинграда), антисемитизмом, шовинизмом, призывом усиливать подчинение человека диктату государства: обращение, подписанное Е.Крыловым и Р.Периным, могло бы иметь под собой подписи тысяч чиновников-бюрократов, ибо как нельзя лучше (хотя и с необычной для официальных документов откровенностью) выражает интересы государственно-бюрократических структур и партийных органов, крайне обеспокоенных перспективой освобождения человека из-под их власти, перспективой освобождения национального сознания (о фактах, свидетельствующих о режиме наибольшего благоприятствования, который был создан в Ленинграде организациям крайне правого шовинистического толка, см. в обращении Совета творческих союзов: Вестник еврейской культуры (Рига), 1989, июль-авг., стр. 21-22).

К возрождению национального самосознания такая программа привести не может никого, в том числе и русских, лицемерной заботой коих все обращение декорировано. Авторы намекают на возрождение национального государства типа того, что якобы существовало в Российской империи с ее лозунгом "Россия для русских", появившемся в начале 1880-х годов. Как пишет М.Широкий, "в Российской империи русский народ имел свое национальное государство, в то время как другие народы империи были его лишены" (Широкий М. Указ. соч., стр. 180). Однако может ли являться идеалом на пороге XXI века национальное государство имперского типа, в котором национальное сознание вытеснено и подавлено шовинизмом (приведенная выше цитата из статьи М.Широкого как раз указывает на это)? А, с другой стороны, возможно ли в условиях сложившегося у нас и до сих пор не демонтированного

сверхгосударства сталинского типа даже русское национальное государство? Надо полагать, нет, и прав М. Широкий, когда пишет, что "целью советского режима с самого начала было уничтожение в первую очередь русского национального духа, религии, традиций... замена ... денационализированным обществом, в котором все народы бывшей Российской империи, включая и русских, лишились бы своих национальных особенностей, слившись в одноликую массу — "советский народ" (М. Широкий. Указ. соч., с. 180).

Но обращение оргкомитета Национально-демократической партии не предлагает ничего, что дало бы малейший повод увидеть возможность возрождения национального самосознания: для этого обращение слишком уж отвечает интересам бюрократической системы сверхгосударства и кажется созданным не где-нибудь, а именно в его таинственных недрах типа кабинетов Смольного или Большого Дома (неожиданна для "неформальной структуры" защита МВД, КГБ и армии; кстати, и 26 апреля 1989 г. на митинге общества "Патриот" под руководством антисемита А. Романенко был поднят лозунг "Милиция и КГБ — опора демократии"; и на митинге у кинотеатра "Меридиан", организованном обществом "Россы" 8 октября 1989 г., некий Ю. Макурин венчал свое фашистское выступление возгласом: "Мы за то, чтобы искать союз со здоровой частью партии, равно как и со здоровой частью КГБ, МВД и в других головных (! — М.З.) органах нашей страны").

Как эти аппаратные штучки далеки от последовательности М. Широкого, делающего вывод: "Мы считаем, что национальным интересам русского народа отвечало бы создание либо независимого русского государства в границах РСФСР, либо славянской федерации в составе России, Украины и Белоруссии, при условии добровольного согласия на то русского, украинского и белорусского народов" (Широкий М. Указ. соч., стр. 191). Кстати, на сказанное М. Широкий намекала в своих листовках и ленинградская "Память", но — боясь прогнать партийных хозяев и покровителей — тщательно обходила все вопросы о независимом русском государстве или возрождении Российской империи: "Главной задачей своей деятельности "Память" считает национальное (демографическое, социальное, культурное, экономическое) возрождение триединого Русского Народа, т.е. Великорусов, Украинцев и Белорусов.

"Память" признает этническое деление Восточных Славян на три ветви: Великорусскую, Украинскую и Белорусскую, но одновременно считает, что общность генетических корней, единство Веры и культуры, тесная территориальная и экономическая связь — вся совокупность национального бытия наших народов позволяет говорить об общих национальных бедах и проблемах, о единстве в решении задач национального возрождения. В связи с этим "Память" считает единственно правильным вернуться к истинному (дореволюционному) понятию о Триединстве Русского народа..." (Русский национально-патриотический фронт "Память": Листовка).

Обратим внимание на ложь, касающуюся дореволюционной идиллии: ведь даже слово "украинец" было до революции запрещено, существовала малая Россия, а не Украина. Да и сегодняшняя деятельность "Руха" на Украине не оставляет надежд на "триединство", о котором мечтает содержанка партаппарата "Память".

Естественно, шовинистические организации, выражающие интересы бюрократической системы и даже программно нарушающие Конституцию под прикрытием трогательных здравниц в адрес "головных органов" — МВД и КГБ, никогда не выступят с таким предложением: ведь оно ставит под угрозу существование самой этой бюрократии социалистического типа (чтобы опубликовать нечто "антиимперское", нужен Париж, нужен Никита Струве; местная партократия никогда не допустит такого). Однако надо иметь в виду, что и "национальное государство" как таковое еще не есть гарантия для реализации национального сознания, ибо все зависит от того, человек ли существует для государства или государство для человека. Второй традиции Российская империя и ее наследник — СССР не знали никогда, поэтому мононациональность государства *гарантией* стать никак не может (если, конечно, не понимать все дело по-староимперски, т.е. находя удовлетворение в том, что "инородцам" еще хуже, чем русскому народу). Единственная гарантия — полное невмешательство государства, партии, партократии в национальную сферу, полный отказ от всякого рода "протезов" национального самосознания и последующих инъекций в протез, к каковым относятся все решения по Тбилиси, Баку, Сумгаиту, Армении и Азербайджану в целом. Главная задача ЦК КПСС — непрерывное вмешательство, осложне-

ние ситуации и "спасение" народов. Однако игра зашла уже так далеко, что спасения не получается...

Русские шовинистические общества спекулируют на проблемах национального самосознания, выполняя роль подручных партий. Именно по этой причине их манифесты направлены на активную защиту командно-административной системы и ее ценностей, на усиление государственного и партийного подавления человека. Впору вспомнить о зубатовщине, настолько откровенна поддержка этих фашистских и полуфашистских обществ и управление ими властями Ленинграда. Настолько явно сращивание и взаимопроникновение погромщиков-неформалов с партократией обкомов и райкомов, с органами прокуратуры, МВД и КГБ.

Характерна с этой точки зрения история некоего А. Романенко, автора антисемитской книжки "О классовой сущности сионизма", выпущенной при одобрении ленинградского обкома партии. Именно этот Романенко на какое-то время стал знаменем ленинградского фашизма, "героем" антисемитских и антиперестроечных митингов. Он же при полной поддержке первого секретаря Петроградского райкома Ракова организовал шовинистическое общество "Патриот", целью которого являлось на каждом углу кричать "Жид идет!" Когда ленинградская писательница Н. Катерли выступила в "Ленинградской правде" со статьей, в которой назвала некоторые положения книги фашистскими, Романенко немедленно подал на нее в суд. И вот 21 ноября 1989 г. ленинградская леворадикальная газета "Смена" дезавуировала пресловутого Романенко, напечатав статью Г. Рубинского "От лукавого...": оказалось, вся жизнь Романенко — обманы, подделки документов, опять обманы, — сослуживцев, командования, товарищей... Ни в каких войнах не участвовал, ордена присвоил себе незаконно. Все построено на лжи. И вот теперь, когда "Мавр сделал свое дело", когда защищать его нет возможности, да и нужды, хозяева "сдали" агента, обнародовав содержание его личного дела, хранившегося в Ленгорвоенкомате. Все в руках партократии и все в руках партократии — напоминает статья Г. Рубинского в "Смене". До поры до времени на вымышленную биографию "борца с сионизмом" смотрели как на возможное явление; подошел момент — и "обнаружилась правда". Но неужели наши вездесущие органы в нашем до предела централизованном государстве с са-

мого начала не знали содержимого этого личного дела? И неужели можно поверить в то, что Г.Рубинский вдруг *сам* догадался пойти и посмотреть это дело, и ему дело просто так дали? Предположить обратное — значит просто оскорбить тех, кому по должности положено знать о нас *все*.

"...Партийный аппарат в своей консервативной части давно оказывал покровительство правым шовинистам. Но сегодня ситуация резко усугубилась, и налицо складывающийся союз, направленный против демократических движений вообще... Мы должны трезво сознавать, что дело не в "еврейской проблеме", не в космополитизме или уязвленном патриотизме — хотя все эти компоненты присутствуют в реальном общественном раскладе, — а, главным образом, в попытке создать крайне правое движение, объединяющее черносотенцев, сталинистов, впавших в панику аппаратчиков, запутавшуюся часть молодежи" (Вестник еврейской культуры. Рига, 1989, июль — август, стр. 22).

Это бьет тревогу по поводу партийно-шовинистического комплота Совет творческих союзов Ленинграда. Но почему его манифест "Что мешает демократическому обновлению в Ленинграде" опубликован не в Ленинграде, а "за границей" — в Риге, в издающемся там "Вестнике еврейской культуры"? Увы, напечатать его в Ленинграде просто негде: даже прогрессивные редакторы боятся это делать.

Исчерпывающе разъяснили ситуацию и расстановку сил события декабря 1989 — февраля 1990 года: предвыборная борьба партийного аппарата за места в Верховном Совете РСФСР и в горсовете протекала в условиях антисемитской истерии, партией и государством организованной. Конкретными же ее реализаторами выступили шовинистические, фашистские общества. Характерно, что партаппарат правящей партии практически ничего не предпринял для того, чтобы воспользоваться принадлежащей ему властью и прекратить уголовно (по статье 74 УК РСФСР) наказуемые деяния. По мнению "трудящихся Смольного" для борьбы с демократическими силами города атака фашистов из "Памяти", "Патриота", "Россов", Национально-демократической партии и т.п. формирований была весьма полезной.

Сигналом послужила заметка в газете ленинградского обкома партии "Ленинградская правда" от 11 января 1990 г. "Ло-

зунги на площади”, в которой автор — некий Лосев — с удовольствием поддержал лозунг “Русским школам — русских учителей”, который был поднят на демонстрации фашистского общества “Россы”. Поскольку газета, в которой заметка была напечатана, принадлежит правящей партии (как любит подчеркивать М.Горбачев), внимание она привлекла всеобщее. Тем более, что сама партия в лице обкома никак по поводу заметки не высказалась (спустя неделю опровержение дала сама газета). После этого процесс уже пошел лавинообразно. Стимулами его становились то очередной несанкционированный митинг “Россов” 12 января (на другой день после появления сигнальной заметки Лосева), то выступление по ленинградскому ТВ секретаря обкома Ю.Денисова (17 января), то антисемитский демарш А.Невзорова — ведущего популярной телепередачи городских новостей, объявившего 20 января, что на многих домах по Гражданскому и Северному проспектам были наклеены объявления: Михаил Семенович Раскин, купивший эти дома, ждет от жильцов квартирной платы. Началось! Жид идет! — как бы говорил бойкий репортер.

А на следующий день, в воскресенье 21 января, “Комсомольская правда” первой сообщила о погроме в ЦДЛ. А спустя еще неделю “Правда” официально разнесла новость о митинге в Останкине, где “звучали откровенно националистические призывы...” Вал событий нарастал. И все это на фоне “гражданской войны” в литературе, на фоне армянской резни в Баку и гражданской войны в Закавказье...

28 января газета ленинградского обкома впервые признала, что по городу распространяются слухи о готовящихся еврейских погромах. Правда, прокурор Ленинграда Д.Веревкин указал лишь на “отдельные проявления антисемитизма” отдельных лиц и, по существу, обвинил в нагнетании напряженности не власти, а прессу. Но резким диссонансом с этим материалом прозвучала заметка в той же “Ленинградской правде” от 3 февраля о внезапном обращении бюро Василеостровского райкома: “бюро выразило серьезную озабоченность ростом воинствующего национализма и шовинизма”, нагнетанием антисемитизма. Но таков уж, видно, роковой удел советско-партийных газет: что ни материал, то ложь или лицемерие. Так и здесь: ведь именно в Василеостровском районе находится знаменитый Румянцевский садик, где летом 1988 года под охраной ми-

лиции и партии, т.е. того же района (и горкома! и обкома!) обосновалось фашистское общество "Память" и бесновался некий Риверов, пытавшийся весной 1990 года стать аж депутатом РСФСР. И именно на территории, подмандатной Василеостровскому райкому, у станции метро "Василеостровская" до самого недавнего времени стоял агитационный щит "Памяти" (может быть, стоит снова), и с утра до вечера молодые активисты искали и ругали ЖИДА. И продолжается это не месяц, не два, а больше двух лет. Продолжается антисемитская агитация, пропаганда, атака — как угодно.

Кульминацией же зимней антисемитской кампании стали проведенные в конце месяца (20-25 февраля) так называемые "Российские встречи" (в народе их окрестили "расистские") — антисемитская провокация, организованная при явной поддержке ленинградских обкома и горкома, а также горисполкома акция комитета "Нева — Ладога — Онега" — фашистской организации, прикрывшейся невинным экологическим названием (возглавляет комитет все тот же бесноватый Риверов из "Памяти").

Несмотря на многочисленные обращения (клуба "Ленинградская трибуна", четырех народных депутатов СССР — самых популярных в городе, городской избирательной комиссии, ленинградской писательской организации, множества отдельных граждан, Совета творческих союзов), городские власти разрешили проведение фестиваля российского антисемитизма накануне выбора, в обстановке, накаленной до предела. Более того, антисемитам услужливо предоставили крытый стадион на 6 тысяч мест "Юбилейный", что тоже было не случайно: находится стадион на территории Петроградского района, а соответствующий райком возглавляет там некто Раков — одна из самых реакционных фигур на политическом небосклоне города. Именно этот Раков, по слухам, обеспечил Гидаспову (нынешнему персеку Ленинграда) мандат народного депутата СССР весной 1989 года; именно Раков предоставил в здании "своего" райкома две комнаты "Содружеству" — группе ленинградских писателей-антисемитов (С.Воронин, В.Козлов, В.Пикуль, Е.Туинов, Ю.Шесталов всего на конец марта 1990 года — 42 человека), волею VI Пленума Правления СП РСФСР выделенных в особую "Областную писательскую организацию". Ту организацию, с которой партийным властям города на Неве нын-

че иметь дело куда приятнее, чем с городской, возглавляемой В.Арро и резко противопоставившей себя Смольному. Впрочем, один ли Раков покровительствует фашистам? Наверняка, все главные ленинградские партократы, все эти Гидасповы — Денисовы — Ефимовы как единая многоглавая гидра стоят на защите тех, кто призывает освободить прессу от "жидовского засилья", кто поддерживает "здоровые силы" в партии, МВД и КГБ. Фашисты лишь произносят вслух то, о чем партократия думает, и в этом основная функция шовинистических групп, находящихся на содержании у Смольного. Впрочем, этому вынужденному молчанию скоро может придти конец: соединившись в рядах Российской коммунистической партии, "легалы" и "нелегалы" начнут проповедовать фашизм вместе и открыто.

О самих "Российских встречах", об этой разминке в антракте между срамными шестым и седьмым Пленумами Правления СП РСФСР, о выступлениях В.Белова, В.Солоухина и сонма "мелких бесов" можно написать отдельную статью. Разрушение образа русского писателя произошло здесь явное и необратимое: вместо властителей дум перед публикой явились совратители душ, дергунчики, послушные марионетки аппарата, стремившиеся изо всех сил оправдать ожидание хозяев. На стадионе "Юбилейный" прошло соревнование: кто громче гаркнет "Жид идет!" Более того, антисемитизм даже стал источником *поэтического вдохновения* некой московской поэтессы Е.Марковой: "Николай-чудотворец, спаси же Россию от срама, от потливых назойливых рук, Иудейских торгашеских лиц..." Впрочем, изложение всех событий "встреч" и событий, окружавших эти "встречи", легко превращается в нескончаемую сагу, и пока мелкие эти события не стали историей и их ценность еще невысока, упоминать все подряд вряд ли стоит (это потому всякая мелочь будет казаться полной смысла и значимости). Поэтому стоит прерваться и посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Погромов в Ленинграде не было (было "покушение на погром" в Харькове, о чем сообщила лишь газета "Труд" в номере за 13 февраля), и власти (которые сами нагнетали напряженность перед выборами и с удовольствием обсуждали слухи о погромах, не препятствуя антисемитской пропаганде), записали это в свой актив, изобразив дело едва ли не таким образом, что еврейский вопрос благополучно решен. Однако анти-

семитские выступления имели и имеют место, и ни один из антисемитов (а многие из них ринулись в депутатский корпус и пофамильно известны) не привлечены по статье 74 УК РСФСР. Многочисленные обращения к прокурору Ленинграда Верекину (одно из см. в "Смене" за 18 февраля 1990 года) ничего не дали: послушный партаппарату прокурор сидит, очевидно, с завязанными, как у Фемиды, глазами и с заткнутыми ушами, и "не усматривает" и "не обнаруживает", в лучшем случае ПРЕДУПРЕЖДАЕТ преступников. Славный КГБ "не замечает" тысяч листовок с антисемитским содержанием. И тоже иногда "предупреждает". Парадоксально прозвучала статья Э.Теплова, доцента Ленинградских высших курсов МВД, опубликованная в той же "Смене" 18 февраля 1990 года. "Анализ последних выступлений объединения "Россы" (созданного К.Н. Кондратьевым) у стен газеты "Смена", ленинградского отделения "Фонда славянской письменности" (М.Н. Любомудров) и особенно Комитета спасения "Нева — Ладога — Онега" (Ю.В. Риверов) однозначно свидетельствуют об их стремлении дестабилизировать и без того напряженную обстановку в городе", — пишет Э.Теплов. И далее, констатировав "пропаганду, возбуждающую национальную вражду на теледебатах 4 февраля", делает вывод: "Полагаю, подобные выступления могут быть сопоставимы с тем, что описано в скупых строчках статей 74, 130 и 131 УК РСФСР. Убежден, что своевременное применение закона может отрезвить и "серых", и "коричневых". Почему же заявляющие о своей демократичности прокуроры Куйбышевского района и Ленинграда бездействуют? Почему так странно ведут себя скорые на решения по Ленинградскому народному фронту работники горкома?.."

Почему, почему, почему?..

Да потому, что партийные власти заняли позицию вполне явной поддержки организованных в общества и "дружины" фашистов: ни горком, ни обком Ленинграда антисемитизм так и не осудили даже в виде общей декларации, даже без названия конкретных персон. Более того, зав. идеологическим отделом обкома Воронцов был членом оргкомитета "Российские встречи", а инструктор идеологического отдела горкома Коловангин — их активным участником. И это тоже не вызвало какой-либо официальной реакции. Все ограничилось констатацией существования некой "проблемы", состоящей, как можно по-

нять, в том, что национальные чувства некоторых граждан для своей реализации требуют открытого расизма и антисемитизма. Как откровенное издевательство над законом было воспринято возбуждение уголовного дела против продавщицы Дмитриевой. Соседям, живущим этажом выше, она опустила в почтовый ящик "письмо": "Жида! Убирайтесь из Ленинграда. Ваш час пробил. Смерть жидам. "Память" (Лен. правда. 1990, 24 марта).

"Памятница"-индивидуалка была моментально обнаружена, и против нее завели дело. Но "завести дело" против целых обществ, организаций, движений власти уже не могут: эти формирования им нужны. Да и "народ всегда прав"... Поэтому-то все, на что власти решаются под страшным нажимом демократических сил города и страны, — это прокурорские или кагэбзские *предупреждения* — деяния внесудебные, тихие, отчасти обеляющие власти ("меры приняты"), но не ликвидирующие дружественные властям шовинистические организации. Власть как бы дает понять шовинистам: "ноблес облич, друзья..."

Советская политическая элита также хранит на этот счет молчание. М. Горбачева волнует судьба русского меньшинства в Азербайджане и в Литве, но несколько не беспокоит атака на еврейское меньшинство в Москве, Ленинграде и других городах. При всей говорливости у президента не нашлось и слова в защиту евреев от антисемитской кампании (более того, введя В. Распутина, члена редколлегии "Нашего современника" в Президентский Совет, М. Горбачев недвусмысленно дал понять о своем отношении к антисемитскому курсу журнала). На местах эта позиция справедливо расценивается в одобрительном смысле и помогает шовинистам организоваться: из антисемитов местная партократия готовит таран не столько против евреев, сколько против демократических сил вообще (по старинной российской традиции).

Безусловно, антисемиты есть во многих странах. Но, должно быть, только в стране победившего социализма они пользуются нескрытым покровительством властей всех рангов и уровней. Более того, власти своим откровенным бездействием дают понять, что в СССР статья 74 УК РСФСР номинально есть, но применение ее не может иметь места, ибо это не встретит поддержки у населения и послужит лишь нагнетанию напряженности. И потому евреям предлагается терпеть, ибо "обострять" вопрос — не в их интересах. Или уезжать без копейки в кармане и преодолевая бесчисленные трудности и унижения.

Но уезжать даже в этой обстановке, как ни странно, хотят не все. Некоторые хотели бы *просто жить*, иные психологически готовы к ассимиляции или просто желали бы послать к черту все национальные проблемы. Но у них эту возможность отнимают, ибо "евреи" нужны как *мишень* для упражнений в стрельбе и *опасность* для новой консолидации на националистической основе.

"Пока мы были под прессом, я был уверен, что мы так однородны, едины в своих стремлениях. Я читал Василия Белова, такого гуманного в своей повести "Привычное дело"... И вдруг эти митинги, эта озлобленность, антисемитские обвинения, которые звучат все громче и громче. Как? Руки падают. Это я что ли виноват?"

Этими словами прощается в "Смене" известный ленинградский бард Е.Клячкин: в период перестройки и демократизации он становится эмигрантом. По существу, с этим мы и вышли из всплеска антисемитизма: с признанием вечности и укорененности антисемитизма в русском менталитете. По сути дела, такую трактовку и предложил партаппарат. Он оскорбил русских — они ему безразличны. Тем более ему, аппарату, безразлично, каково жить еще не эмигрировавшим евреям в том же Ленинграде в обстановке непрерывного обсуждения их права на работу, их количества, самого проживания в СССР, каково становиться свидетелями и участниками расистских, фашистских споров. Увы, апеллировать к советским властям уже бесполезно: власти антисемитскую пропаганду запрещать не желают, применять статьи уголовного кодекса не хотят. Единственная надежда еще-не-эмигрировавших — на международное общественное мнение, на США и соседей по "общеевропейскому дому", на лакомый "режим наибольшего благоприятствования", который можно получить лишь в обмен на "хорошее поведение" в сфере прав человека. По существу положение евреев в СССР держится на некоторой зависимости хозяев страны от Запада. Внутри же обстановка, видимо, настолько серьезна, что практически все *прогрессивные* органы информации Ленинграда ("Нева", "Звезда", "Искусство Ленинграда", газеты "Смена" и "Ленинградский литератор") *боятся* публиковать серьезные материалы с осуждением антисемитизма, с глубоким и всесторонним анализом исторических и психологических корней этого явления (я варюсь в этом "котле" и знаю об этой ситуации не понаслышке: СТРАХ — реален).

У проблемы есть и другой аспект. 9 февраля газета "Смена" опубликовала предвыборные платформы различных общественных формирований города. Среди них — платформа гражданского объединения "Россы". Прямых антисемитских высказываний в газетном варианте платформы как бы нет. Однако с учетом того, что обычно говорится на митингах "Россов", трудно расшифровать иносказание, скажем, из восьмого пункта: "Создание в России национальных (в том числе русских): школ, академий, учреждений, культуры, программ телевидения и радиовещания, прессы, издательств..."

По существу, речь идет о лозунгах, провозглашенных на демонстрации "Россов" 19 октября 1989 года около памятника Глинке: "Русским школам — русских учителей!", "Русскую историю — в русские школы". Но ведь нет фактов, что какие-то ленинградские учителя не владеют русским языком; остается заключить, что речь идет о *крови*, о расовом отборе. Этот расизм Лосев, автор скандальной заметки, о которой я уже писал, упорно именовал патриотизмом.

В итоге создалась атмосфера особого "двоговорения": к традиционной советской лжи, конечно же, еще не преодоленной, добавился иносказательный антисемитизм, ранее реализовавший себя открыто и легально путем критики сионизма. Раньше этим занималось государство, это была форма советского государственного антисемитизма. Теперь же то, чем некогда занимался партийно-государственный аппарат, поручено "неформалам". Это объясняет и поддержку, и явный комплот.

Впрочем, самые упорные не сдаются, и сионизм как "стремление еврейского народа к национальному возрождению в рамках национального государства на своей исторической родине" по-прежнему стараются представить как программу "сионизации СССР", "объевреивания русских", как заговор против России и т.п. Чтобы продолжить жизнь умирающим догмам, "Правда" 9 августа 1989 года даже специально изобрела мифический "Союз сионистов" в Москве, задачи которого идеально подтверждают то, о чем трубят идеологи фашистских обществ. Впрочем, это совершенно естественный ход владельцев "Правды": еще Всеволод Крестовский в самом начале романа "Тьма Египетская" (1888), открывшего его антисемитскую трилогию, поместил речь рабби Ионафана, который призывал не ехать в Палестину, а опутать сеть еврейства все обитаемые страны и

сосать из них соки. "Нас на земле всего только шесть миллионов. Представьте себе, что все эти шесть миллионов, по природе своей мало способные к земледельческому труду, вдруг очутились бы на берегах Иордана, на этой узкой, бесплодной, сожженной солнцем полоске земли, — что они стали бы там делать и что такое, какую политическую силу они изображали бы собою?.. Да они там с голоду подошли бы! Они пропали бы, задохлись бы в своей безвыходности!"

Не случайно же политический обозреватель А. Бовин за показ по центральному ТВ в подготовленной им передаче репортажа о цветущем и благоустроенном Израиле был надолго отлучен от экрана: образ еврейского государства должен быть именно таким, каким его представил еще Крестовский. И образ русского народа как народа-антисемита тоже должен быть неизменным. Все это устраивало имперские власти до революции, устраивает и сейчас. Может быть, действительно, надо говорить об антисемитизме как свойстве, *загнанном* в русский менталитет? Страшно в это поверить.

Не меньше ужасает и позиция аппаратчиков, которые хотят казаться прогрессивными и ориентированными на общечеловеческие (в том числе и западные) ценности. Вот интервью, которое произвело неотразимое впечатление на ленинградцев: его дал первый заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК, доктор исторических наук А. Дегтярев корреспонденту газеты "Смена". Прибыв из Москвы для участия в предвыборной борьбе, бывший ленинградец А. Дегтярев (как выяснилось, в студенческие годы *стукач* КГБ, что и стало в конце шестидесятых годов трамплином будущей партийной карьеры) развил бешеную, непривычную для столоначальника из ЦК активность: интервью в газетах и на ТВ, письма в газеты, статьи, встречи и выступления, споры на страницах ленинградских газет с писателями Я. Гординым и В. Воскобойниковым — спор с последним продолжался в суде вследствие иска А. Дегтярева (вот какой нынче в СССР партбюрократ! Но все равно на выборах А. Дегтярев с треском провалился — там где он пытался обмануть народ своей прогрессивностью, победил В. Югин, главный редактор газеты "Смена").

13 февраля — за 20 дней до выборов, за неделю до открытия "Российских встреч" и в тот же день, когда "Труд" сообщил о еврейском погроме в Харькове, — "Смена" печатает интервью,

которое А.Дегтярев дал единственной ленинградской леворадикальной газете с явным желанием выглядеть прогрессивным, центристом (как А.Дегтярев сам себя именует, думая, что "центризм" — это хорошо; но центристом был до поры и Сталин). И сказал московский гость, покинувший свой цекистский стол, буквально следующее. Что всплеск антисемитизма выгоден двум силам: антисемитам зоологического толка и... самим евреям — чтобы получить статус беженцев при отъезде в США. А это деньги, — многозначительно намекнул первый заместитель. И так изящно уравнивая тех и других, А.Дегтярев сразу снял — как ему показалось — вопрос и об антисемитских митингах, листовках, заявлениях, и вопрос о покровительстве обкома этим "ялениям" (а ведь еще недавно он сам был секретарем обкома и равнодушно наблюдал из высокого смольнинского кабинета за тем, что творится в Румянцевском саду). Коль скоро нагнетание напряженности в межнациональных отношениях и антисемитизм на руку евреям, то они это все и организовали: ради денег евреи, конечно, пойдут на все, это ясно!

Но в ответе высокопоставленного партийного чиновника была и вторая часть: центрист оказался к тому же заядлым прагматиком, не хуже тех хитрых евреев, что распустили слухи о еврейских погромах ради кругленьких сумм на американской земле. Прагматик А.Дегтярев разъяснил несознательной части граждан, что погромы могут вызвать нежелательную реакцию в американском конгрессе, там не отменят поправку Джексона-Вэника, СССР не получит режима наибольшего благоприятствования и понесет убытки. Об этом же, кстати, сообщил и собкор "Известий" из Нью-Йорка: в тот же день, 13 февраля, его материал был опубликован под названием "История повторяется". Надо полагать, что ради американцев и "Правда" 27 марта 1990 года (спустя два с половиной месяца после появления антисемитской заметки Лосева) решилась напечатать статью собкора чужой газеты "Рабочая трибуна" А.Калиниченко, в которой писания Лосева резко осуждаются. Однако почему напечатана статья на полосе не правдинских материалов, а материалов журнала "Журналист" (прошу прощения за тавтологию, но это была полоса приглашенного в гости к "Правде" чужого издания)? И почему "Правда" "забыла" о московском антисемитизме, проявив избирательную строгость лишь к ленинградскому? И почему выжидала два месяца, дождавшись, когда

все кончится с выборами? И почему не нашла *своего* автора?

Вернусь, однако, к Дегтяреву. По его мнению, еврейские погромы просто невыгодны сегодня экономически, и лишь по этой причине недопустимы. Так говорит советский "идеолог № 2", интернационалист, центрист и прагматик. Говорит с явным желанием понравиться перед выборами читателям *левой* газеты, не замечая пещерности и антиконституционности своей логики. Впрочем, на фоне народного депутата В. Белова, члена Президентского Совета Распутина и какого-нибудь Бондаренко или Казинцева — это, действительно, центр. И то лишь с политической точки зрения. С культурной — это симптом *полного распада русского культурного космоса*. С восторгом подхваченные русскими фашистами идеи "Русофобии" И. Шафаревича — это свидетельство глубочайшего комплекса неполноценности, поразившего часть русских людей в нынешней России. Крича "Жид идет!" (как сто лет назад Крестовский), люди выдают свое отчаяние. Власть помогает им оправиться от потрясения. Новую систему идеалов на месте рухнувшей старой, коммунистической, надеются построить как систему русского национал-социализма, и потому вслед за своим коричневым предшественником аппарат пытается начать "возрождение" с изгнания и уничтожения евреев.

Какую роль в этом играет бездействие М. Горбачева, какую роль будет играть Российская компартия, организуемая со спазматической быстротой, и институт президентства, освободивший КПСС от обязанности соблюдать общенародный интерес (а не только свой групповой), все это мы со временем узнаем: как говорят французы, время — честный человек. Состояние же "еврейского вопроса" (на репрезентативном ленинградском примере), как сверхчуткий прибор, позволяет делать "долгосрочное планирование", если — вслед за Н. Бердяевым — рассматривать "еврейский вопрос как русский".

Идет смена этапов. Россия, пережившая этап социализма **КРАСНОГО**, может вступить в социализм **КОРИЧНЕВЫЙ**.

Лгущая себе и всему миру, Россия повисла над пропастью. **НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ.**

Ленинград



РУССКАЯ ЩЕЛЬ

Секрет русского человека в том, что у него есть щель. Или — дыра. Или пробоина, если прибегнуть к морскому сравнению. Во всяком случае, в нем определенно нет герметичности. Нет осознания себя как целостности, как законченной, завершенной формы. Где щель, там расколотость, разбитость, опустошенность. Звук, если постучать, не звонкий, странный, глухой, загадочный. Цельная вещь не вызывает столько вопросов. Она есть. Плохая или хорошая, она существует, и все. А здесь: кто разбил? когда? с какой целью? или с самого начала, от природы — с щелью? Замучаешься отвечать.

Хуже того, замучаешься спасать. Если с щелью, если с пробоиной, то непременно тонешь. Русский человек — вечный утопающий. Однако не утопленник. В сущности, он непотопляемый утопающий. В этом смысле он *водяной*, так и не научившийся плавать. Ему бросают спасательный круг, паника, его тащат за волосы, с большим трудом выволакивают на берег. Положили, теперь откачивают. Русский человек застенчив. Ему неприятно, что с ним возятся. Ему совестно, что он наг, плохо выбрит и вообще не слишком эстетическое зрелище. Ему не нравится, когда он не нравится. Он становится подозрительным, агрессивным. Из него не выдавишь слов благодарности. Отлежавшись на песке, он приподнимается, мутным взором обводит спасателей и медленно, угрюмо, неуклонно лезет в воду. Чтобы снова тонуть и мучиться. Неожиданная догадка закрадывается: да он же, сукин сын, пьян! Не исключено. Хотя, может быть, он и трезв. Не в этом дело. Дело в том, что у него есть щель — веское алиби сумасброда.

С щелью нормально жить невозможно. С щелью нельзя

прилежно работать, думать о быте, обзаводиться семейным добром, покупать шелковые галстуки. С щелью не выстроишь ровной дороги, не станешь аптекарем. Щель можно спрятать, как звериный хвост, зажав его между ног. Щель можно, на худой конец, заклеить. Но звук все равно будет не тот: глухой и загадочный. Можно только притворяться, что все нормально. Хитрить и лукавить.

Щель — великое преимущество русского человека. В том, что он лучшее из того, что сотворил Бог, русский человек, даже самый скромный, включая Чехова, никогда не сомневался. В том, что он "говно", он тоже не сомневается. Вся русская философия замирала от такой неожиданно-негаданной полярности. Вся русская литература восхищалась широтой своего героя. Иностранцы тоже дивились, ничего не понимая. А как им понять, когда у них все задраено, если у них — ни щелочки?

Посмотришь на русского человека острым глазком. Посмотрит он на тебя острым глазком. И все понятно, и никаких слов не надо. Вот чего нельзя с иностранцем. Так резонно рассуждал Василий Розанов в начале XX века.

Через щель русская душа видна невооруженным глазом. Ее можно потрогать пальцем или даже пощекотать. Когда русская душа смеется от щекотки, смех стоит "во всю ивановскую". Русское веселье — дело надрывное, переходящее зачастую либо в рыдание, либо в драку. Перещекотали. Русские песни тоже надрывны. Надсадны и жалобны. А русские сказки то слащавы, то дивно циничны. В них презирается ум и работа. Там торжествует обман и чудо. Там правит князь — Иванушка-дурачок. Он недолюбливает своих братьев — фольклорную интеллигенцию.

Недаром теологов тянет к русскому человеку: он метафизичен, из него лезет наружу мистическая субстанция души, как носовой платок из кармана. При всей своей обрядовой суровости, русское православие — тоже с щелью. Оно похоже на спущенное колесо. Весомо лежит, скверно едет. Сидя на этом колесе, замечательно глядеть на звездное небо и рассуждать о русском хлебосольстве. Наверное, водка — это единственная святая вода, которая, как с ней ни борись, не перевелась на Руси. Замечательно никуда не ехать.

Через щель русская душа непосредственно наблюдает мир, не прибегая к помощи банального человеческого зрения,

и напрямую общается с Богом. Этот опыт уникален. С точки зрения не вечности, но щели. Этот опыт — достояние русской культуры. Счастье и гордость. Прошлой и — будущей. Она никогда не останется безработной. В отличие от неуместной российской цивилизации.

В цивилизации русские — обидчивые подражатели. Им кажется, что они изобрели все раньше и лучше других, но их обобрали евреи и иностранцы. Вот, если взять семейный пример, мой далекий загадочный родственник Попов выдумал радио раньше Маркони. Об этом знает в СССР каждый школьник. Я тоже, естественно, в этом уверен.

Французский путешественник, маркиз де Кюстин, написавший книгу "Россия в 1839 году", заметил, что беда русских не в том, что они подражают Европе, а в том, что подражают плохо. Через 150 лет после кюстинской книги, до сих пор полностью из-за всяческих обид не опубликованной в России, русская душа по-прежнему никак не определится: кто она — европейка, азиатка или что-то совсем особенное. Лучшие русские умы ломают голову над этим вопросом. На самом деле русская душа архаична. Она боится всего "чужого", не исключая кока-колы. Ей кажется, что эта "черная вода", выдумка чужеземных колдунов, лишит ее целомудренности. "Чужая" одежда также пугает ее. Никакие потемкинские деревни советской моды, наподобие коллекций Вячеслава Зайцева, не убедят ее в том, что это богоугодное дело. Никакие политические нововведения не собьют ее с толку: она поклоняется силе и презирает слабость. Она монархистка, а не плюралистка. Она свободна в своем первобытном рабстве.

Щель — основная причина извечной русской неудовлетворенности, ненасытности, неприхотливости, требовательности и лени. Лучший мифический образ русской души — помещик Обломов. Он красиво и правильно проспал целую жизнь. Пробовал влюбиться — не получилось. Любовная энергия ушла через щель. Через щель уходит вся жизненная энергия. В щель забивается весь мусор мира. Чтобы сберечь энергию, нужно подолгу спать. Русской душе нужен покой. Русская душа никогда не обретет покоя.

Крестьянский народ, чуть ли не тысячу лет назад ушедший от ласкового солнца разоренного после степных набегов Киева в таежную хлябь северо-востока, и не подозревал, что там, на

болоте, родится новая общность сильно разобщенных людей — с ранимыми душами, страдающими от своенравия климата, поганой почвы и тошного вынужденного зимнего безделья.

Безвестный на Западе русский историк Ключевский, шесть лет не доживший до большевистской революции, оказался куда более точен, нежели всемирно значимый Достоевский, указав не на соборность и коллективизм русской души, а на ее беспробудную одинокость: "...Великоросс лучше работает один, когда на него никто не смотрит, и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам по себе, чем на людях, лучше в начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже добьется некоторого успеха и привлечет внимание: неуверенность в себе побуждает его силы, а успех роняет их". Нетерпеливый недоучка и тонкий политик, Ленин, не внявши Ключевскому, превратил русскую революцию в долгосрочную пытку над русской душой. Но кто всерьез станет спорить с тем, что коммунистический идеал не был во многом созвучен "щелевому" российскому сознанию? Что Маркс — лишь повод, а не первопричина той страсти к уравниловке и завистливой злобы к более зажиточному собрату, которой охвачен среднеарифметический русский характер со своей "щелевой" энтропией?

Нынче неслыханные перемены плавают русские мозги.

Неужели щель затянется, словно рана?

Холодным мартовским утром 1990 года пожилой болливый дядька-таксист вез меня в международный аэропорт Шереметьево. Узнав, что лечу я в Париж, он спросил с нескрываемым любопытством:

— А верно говорят, что в Париже все ходят в белых штанах?

Мне показалось, что оба мы сходим с ума. В который уж раз от подобной дичи мне стало страшновато за новые планы Европы, за русскую интеллигенцию, присматривающуюся к парламентским играм, за московскую и ленинградскую молодежь, растущую нынче без всякой партийной опеки, за кавказцев, литовцев и нас с ним самих. Через щель ушло тысячелетие времени. Опять часы показывали: "русская вечность". Доверчивая, хитрая, неопрятная душа, мечтающая о долларах и о Сталине, весело взирала на меня через щель.

М. Холмогоров

ПОДВИГ

– Смерть Ивановым! – кричали Петровы.

– Смерть Петровым! – кричали Ивановы.

И тогда вышел на площадь Сидоров и сказал, тихо и внятно:

– Я готов принять смерть за всех Ивановых и за всех Петровых. Только пожалуйста, не убивайте больше друг друга.

Толпа Ивановых и Петровых растерзала Сидорова. И все ликовали победу.

Ликовали, ликовали, ликовали. ликовали, ликовали, ликовали ликовали лико. ва... лико... вали...

Отликовались. Глянули тяжким утренним взором и ахнули:

– Сидоров! Да что ж мы с тобой понаделали! А с собой что понаделали!!!

И пошли искать оставшихся в живых Сидоровых, чтобы покаяться и прощения просить. А Сидоровы, не те, кто пал жертвой толпы, а простые однофамильцы, вскричали в восторге:

– Пошли бить Ильиных! И Васильевых! Все зло от них.



А. Штейнберг

Л. ШЕСТОВ

Осенью 1907-го года, не окончив еще гимназии, я поселился в Гейдельберге, стал слушать лекции по философии и неизменно много читать. Увлекаясь с еще более ранних лет русской литературной критикой, я, естественно, скоро натолкнулся на "Историю русской общественной мысли" Иванова-Разумника, с которым десять лет спустя мне пришлось так тесно сойтись. Он же тогда заинтересовал меня, благодаря другой своей книге — "О смысле жизни", работами Шестова "Философия трагедии" и "Апофеоз беспочвенности". Шестов стал для меня магическим именем. Казалось, стоит лишь Европе узнать поближе стихию мысли, одушевляющую его и его окружение, как сразу займется заря духовного обновления. Было мне в то время без малого девятнадцать лет...

Дело было спешное, и, не размышляя слишком долго, я написал короткое письмо "глубокоуважаемому писателю Льву Шестову", в котором сжато и горячо излагал мотивы, побудившие меня просить разрешение на перевод всех книг Шестова на немецкий язык. Я тогда не знал ничего об авторе: ни сколько ему лет, ни что он из себя представляет, ни даже того, что обращаюсь к псевдониму. Написал, запечатал и отправил по адресу московской "Русской мысли", в которой появилась статья Шестова об Ибсене. Опустив письмо в ящик, я бросил взгляд

на ту сторону реки, где вилась по холмам Philosophenweg — тропа философов, усмехнулся и громко по-русски сказал: "Какая чепуха!"

Прошли месяцы. Я почти успел забыть о своем глупом письме "уважаемому писателю". Чем более осваивался я с горными пейзажами, тем быстрее менялась перспектива: то, что еще год тому назад казалось грандиозным, постепенно снижалось в кряжистый ряд, а какой-нибудь ранее едва приметный библейский стих разгорался внутренним светом и сиял высоко, как звезда. Вместе с тем я стал требовать от всех сильных духовного мира сего взаимного понимания. И тут-то мне вдруг померещилось, что Шестов именно этим даром наделен слишком скупом, что, говоря грубо и дерзко, он плохо понимает и Толстого, и Достоевского, и Ницше. (Ницше в то время я нежно любил, как больного младшего брата.) Я был искренно рад, что мое "объяснение", отправленное в пространство на имя Льва Шестова, не дошло, и, глядя из окна на ту сторону Неккара, я дал себе однажды вечером слово выбирать в будущем корреспондентов осторожнее.

Однако я ошибался. Как раз на следующее утро я получил открытку из Фрейбурга, написанную крайне неразборчиво, но с отчетливой подписью: "Л. Шестов". Письмо мое, оказалось, переслали из Москвы за границу, и он решил воспользоваться случаем и съездить в соседний с Фрейбургом Гейдельберг, чтобы познакомиться со мной лично. Дальше, как я разобрал, он предлагал мне прийти на вокзал к поезду с юга в два часа с минутами и распознать его среди новоприбывших пассажиров "по рыжей бороде и спортивному костюму". "Ох, — подумал я, — не идет как-то рыжая борода к беспочвенности, и о чем только я буду говорить с ним?" На платформе вокзала я был вовремя, поезд пришел по расписанию, из всех вагонов посыпались пассажиры, и я, стоя несколько в стороне, старался не упустить ни одного рыжебородого новоприезжего. Но такового не оказалось. Пассажиры разошлись, платформа опустела, я продолжал на всякий случай прохаживаться вдоль поезда, соображая, в чем же ошибка, как быть дальше, как вдруг откуда-то появившаяся высокая сутулая фигура обратилась ко мне по-немецки: "Вы говорите по-русски, не так ли?" Оба мы рассмеялись и с удовольствием поздоровались.

Недоразумение сразу же разъяснилось. Я не обратил вни-

мания на Шестова, так как борода его была не рыжая, а темно-коричневая, костюм, хотя и швейцарский, но не спортивный, а главное, я не ждал встретиться с типично южнорусским евреем. "Шестов? — удивился я, — почему Шестов?" Он же, заметив сразу молодого человека, явно кого-то поджидавшего, не мог допустить, что этот "мальчуган" (я выглядел моложе своих лет) и есть тот убежденный "синтетик", который написал ему из Гейдельберга. Недоразумение, естественно, сближает. Оба ошиблись, значит у каждого был некий секрет о другом и от другого. Это уже потом Лев Исаакович мог объявить мне о моем "неприлично молодом виде", а я мог справиться о его имени и отчестве, сразу же найдя подтверждение тому, что и он происходит от Авраама, Исаака и Якова. Пока Шестов сдавал на хранение свой багаж, мы весело поглядывали друг на друга, преодолевая двадцатипятилетнюю разницу в возрасте. "А вы уже обедали? — спросил меня мой гость. — Вы здесь дома, пойду с вами, куда поведете. Да покажите мне побольше, все, что успеете до вечера. Заодно и побеседуем".

Я повел Шестова в ресторан "Perkeo", названный по имени знаменитого пфальцского шута, и тут же вынужден был объяснить, что по религиозным причинам участвовать в обеде настоящему не могу. Лев Исаакович уставил на меня свои почти круглые серо-голубые глаза из-за обширного меню, слегка нахмурился и вдруг положил руку на мой локоть: "Знаете, кто был бы рад познакомиться с вами? Мой отец. Он сразу бы сошелся с вами, а я не могу. В противоположность Фейербаху и всем материалистам я думаю, что человек не есть то, что он ест. На этом основываться — опасно... Вы ведь не марксист?" — прервал он самого себя. "Нет", — ответил я, а про себя подумал: и кто бы мог без беспочвенности вот так сразу шагнуть от кошерной пищи к материалистической философии? Шестов, конечно. Вот это я понимаю!

Да! Несмотря на свой уютный, добродушный и совсем беспочвенный вид, это был — Лев Шестов! Поворот мысли совершенно неожиданный. Я такого еще не встречал. Вспомнилось, что кто-то "азвал Шестова — "русским Ницше". Может быть, и так... Пока мы пробирались по узкому тротуару Гауптштрассе по направлению к университету и замку, мысль то и дело цеплялась за вопрос: "Зачем, однако, "русский Ницше" приехал к русскому студенту философии в Гейдельберг? Не-

ужели ему нужны ученики? Или он хочет проверить, достоин ли его гейдельбергский корреспондент миссии, посреднической роли, которую он готов взять на себя, переводя шестовские сочинения на немецкий язык?" Что ж, решил я про себя, экзамен так экзамен!

Когда мы дошли до Университетской площади, Шестов остановился у памятника Людвигу Второму, повернулся ко мне, скользнул взглядом по серой стене "старого здания" и сказал назидательно: "Вот видите, им нравится серое... На фоне этого огромного куба в строгом барокко все превращается в прямоугольный догмат... Да сохранит вас от этого Господь в небесах. У евреев и без того врожденная склонность говорить: Аминь. Мой отец утверждает, что если б из молитвенника убрали одно это единственное слово, евреи перестали бы молиться". — "Они и так перестали..." — улыбнулся я.

Шестов нахмурился, как тогда за обедом, и, крайне неожиданно для меня, поставил мне "пятерку".

"Давайте поговорим о деле". Мы присели на скамейку, он продолжал: "Вы писали мне о переводах. Для этого нужны две вещи: понимание оригинала и знание языка, на который переводишь. После нашего знакомства я не сомневаюсь, что оригинал вам можно вполне доверить. ("А-а, — подумал я, — да правильно ли ты понимаешь свои собственные оригиналы?") Что же до второго, то тут я плохой судья. Вы хоть человек и молодой, но весьма сурьезный (он так и сказал: "сурьезный") и не за свое дело не возьметесь. Если надо будет, найдете кого-нибудь, с кем можно посоветоваться. Так значит — по рукам! И перевод ваш будет авторизованным. А теперь можно погулять со спокойной совестью".

Я повел Шестова в замок. Он нравился мне все больше и больше, и все больше и больше меня разочаровывал. Я чувствовал себя с ним совсем просто, по-домашнему, как с одним из своих дядюшек. Я тщетно искал в его замечаниях, шутках, ссылках на отца отклики незаурядной мудрости. Меня поразило, как целесообразно и рассудительно он повел дело с молодым студентом из закосневшего в догматизме Гейдельберга. Впоследствии мне не раз приходилось переживать подобные разочарования: с Валерием Брюсовым, Максом Вебером, В.В. Розановым и им подобными. Но первым, научившим меня видеть в так называемом "великом человеке" — человека, был Лев

Исаакович. Гораздо позже я понял, что простая его человечность и практичность говорили скорее в его пользу, нежели против него, и что героям мысли вообще-то не свойственно быть одновременно героями дела. Ведь до чаши цикуты сколько выпил Сократ амфор обычного терпкого афинского вина! Почему бы и Шестову не прогуливаться по Гейдельбергу, как всякому другому непритязательному туристу?

Времени у нас оставалось еще несколько часов. Шестов собирался продолжать прерванное путешествие и уехать с вечерним поездом в Берлин, а я считал, что весь остаток моего дня принадлежит гостю. Оказавшись на уровне бойкого горного ручья, с берега которого открывался широкий вид на Оденвальд, предгорье Шварцвальда, я прикоснулся к рукаву моего спутника и, как опытный гид, указал ему на пенящиеся и звенящие струи ручья: "Это Клингентейх, а там, за рекой, извилистая дорожка вверх — это Philosophenweg". — "Ну вот, — воскликнул Лев Исаакович, — а еще сомневаются в том, народ ли поэтов и мыслителей, немцы-то! Философия врезывается у них в поэтический ландшафт, а горному ключу подобрано имя прямо из трактата по эстетике". — "А вот сейчас вы увидите, как все это у них основывается на преданиях старины далекой... Вот сюда, пожалуйста". Мы двинулись вперед через каменный мост во внутренний двор замка.

Этот образец немецкой готической архитектуры мало интересовал Шестова, но он непременно хотел поглядеть на "царь-бочку" — мой свободный перевод, подсказанный кремлевскими диковинками — "Heidelberger Fass", которая действительно могла посоперничать гигантскими своими размерами с Царь-колоколом и с Царь-пушкой. Мы спустились в глубокий подвал, под сводами которого помещалась самая большая винная бочка в мире, и Лев Исаакович, пораженный и даже несколько взволнованный, стал расспрашивать меня, как и откуда взялась эта царственная посуда; его по-детски живая впечатлительность меня глубоко изумила. Я обрадовался и стал рассказывать: "Видите, поверх бочки — площадка с перилами? Она рассчитана на целых двенадцать танцующих пар. Все это выдумки того же палатинского шута Перкео. В его время виноделы платили налог натурой. Не экономнее ли будет, — шептал шут на ухо курфюрсту, — хранить палатинское вино в княжеском погребе не в разнокалиберных бочонках, а в одной чудо-боч-

ке, которая к тому же прогремит на весь христианский мир во славу князю и его вину?" Так вот и соперничают с тех пор Гейдельбергский университет, самый старый в Германии, с Heidelberg Fass, самой большой бочкой на всем белом свете".

"А знаете, — сказал Шестов, не отводя взгляда от раскрашенного деревянного шута Перкео, приставленного к подножию бочки как хранитель и верный страж ее, — вам их юмор кажется глуповатым и смешным, а я все думаю, какой глуповатой и смешной показалась бы им наша с вами серьезность... Нет, говорите, что хотите, а умели-таки жить наши деды, "не то, что нынешнее племя". И еще неизвестно, — прибавил он, склонив голову на правое плечо, — кто окажется победителем, университет или бочка!"

Я решил ответить в тон Шестову: "Пожалуй что бочка, если только в ней поселится Диоген с университетским своим фонарем".

Где-то пробили часы. Шестов забеспокоился: "Не опоздать бы на поезд. Непременно должен своих стариков встретить из Киева". Я заверил своего гостя, что обратный путь займет гораздо меньше времени и предложил ему выпить чаю на террасе гостиницы при замке. Ясный августовский день вызывал томительное желание ясности, но часы, проведенные с Шестовым, наполнили ум сумятицей. Все и так, и не так. Как будто без роду и без племени, а в то же время — преданный сын "стариков"; иронизирует по поводу немцев, а вместе с тем — преклоняется перед исконным немецким бытом; против умеренности и аккуратности, а сам точен и предусмотрителен, как сын диккенсовского "сити"... Непременно нужно будет во всем разобраться. Мог ли я тогда подумать, что и полвека спустя я все еще буду искать подходящую формулу для этого причудливо-русско-еврейского силуэта.

Перед тем как распрощаться, уже на вокзале, Лев Исаакович условился со мной о будущей переписке и, уже стоя на площадке своего вагона и благодаря за гостеприимство, с полунасмешливой улыбкой прибавил: "И еще спасибо за науку. Не думал, не гадал, что мне еще придется поучиться в Гейдельберге". "Над кем смеетесь, — подумал я, — неужели над собой?"

Весною следующего 1911-го года я снова встретился с Шестовым, на этот раз в Болонье, где собрался четвертый Международный Философский съезд. Завидев меня у входа в акто-

вый зал, Шестов замахал длинной своей рукой, желая, по-видимому, знаками подчеркнуть, что рад неожиданной встрече. Я поспешил к нему. Показалось, что он еще больше осунулся, что им овладела какая-то забота. Приветливость его выражалась не в улыбке губ, а в прищуренных серо-голубых круглых глазах. Протянув наскоро руку, он продолжал говорить (именно продолжал, как если бы мы еще и не прерывали нашей прошлогодней беседы), о своих ближайших планах: "Не знаю, как вы, но я до конца съезда не останусь. Я приехал, в сущности, из-за Бергсона (а-а, — подумал я, — опять Бергсон!), хочу увидеть своими глазами, что немцы в нем открыли, и, главное, на фоне всей современной философии... Это тоже любопытно". Прозвонил колокольчик, призывавший делегатов в зал. "Ну, потом поговорим... Давайте пообедаем вместе, как в Гейдельберге. Я расскажу вам много интересного".

За нашим, по моей вине вегетарианским, обедом Лев Исаакович, с трудом справляясь с длиннохвостыми макаронами, волнуясь и спеша, стал объяснять мне, что мы "не с того конца взялись за дело". Я развесил уши. "Понимаете, — учил меня Шестов, — автор, не признанный у себя на родине, не может привлечь внимания иностранцев. Посмотрите — Бергсон! Сначала его признали во Франции, а уже затем и немцы за него взялись, да так, что он теперь и мне загораживает дорогу в Германии. Да и тут, у итальянцев, и всех прочих. Ясно — мировое имя! Но первым делом — родина! А мы хотели через все это перепрыгнуть. Ну да ничего — "лиха беда начало!" (Лев Исаакович любил поговорки и присловья, особенно в народном духе) Ничего! Я вам сейчас кое-что покажу". Отодвинув тарелку, он стал рыться в карманах, покуда не извлек конверт с русскими марками: "Вот!"

Оказалось, что это было письмо от питерского издательства "Шиповник", предлагавшее Шестову выпустить его полное собрание сочинений в шести томах. "Понимаете, получается каламбур: шесть томов Шестова! А все это благодаря Любови Яковлевне Гуревич. Она давно меня подговаривает: "Чем же вы-то хуже других?" Так вот Капельман из "Шиповника" и послушался. Черная сотня теперь будет говорить, что это еврейская бухгалтерия! Так пусть говорят, не так ли?"

Я был смущен и огорчен. К этому времени я уже не был так наивен, чтобы не знать, что даже самые крупные умы под-

вержены обычным человеческим слабостям и что среди опасностей, подстерегающих людей мысли и пера, наиболее коварными являются честолюбие и тщеславие. Но ведь потому и соблазнил меня своими писаниями Лев Шестов, что он нашел смелость приложить мерку наивысшего величия даже к таким глашатаям общечеловеческой добродетели, как Толстой, не боявшись поднять руку на их моральный престиж. Никто лучше Шестова, казалось мне, не умел убийственной иронией заклеить расхождение между словом и делом, между философией и жизнью. Тонкая и тончайшая его ирония свидетельствовала, как будто, если не об исключительной мудрости, то, по крайней мере, о тонком и тончайшем уме. Правда, уже при первой встрече в Германии ко мне стало закрадываться сомнение о глубине его проникновения в человеческое сердце, а главное — в бескорыстности его изысканий. Я удивлялся, поражался противоречивости его оценок, но счел бы непростительной дерзостью одно свое предположение о том, что Шестов находится во власти ненасытной страсти утвердить самого себя и найти всеобщее признание в качестве оригинального мыслителя еще при жизни — непременно, еще при жизни. Вот, к примеру, хотя бы как Бергсон! Только теперь я вдруг понял, как глубоко его задела невинная, чисто деловая фраза в письме из Иены: "Wir haben uns auf der Linie Bergson festgelegt". Мне и в голову не приходило, что Шестов с кем-то соперничает и как бы играет в перегонки. Волнение же его по поводу возможности увидеть "полное собрание" своих сочинений выдавало уже не только страстное честолюбие, но и самое обыденное тщеславие. Я был огорчен и совершенно растерялся. Но тут мне на выручку подошел другой мыслитель-оригинал — Ительсон.

Григорий Борисович Ительсон и Лев Исаакович Шварцман-Шестов давно друг друга знали и, как сразу можно было заметить, давно друг друга недолюбливали. Они поздоровались с откровенно привычной холодностью, отражаясь друг в друге, как в нарочито искривленных зеркалах иронии. "Вот не ожидал!" — сказал Ительсон Шестову. "А я все смотрю, что это вас не видно", — сказал Шестов Ительсону. Оба разделяли участь философов-самоучек, оба не имели академического звания и оставались "частными учеными", дилетантами в философии. Но если для Ительсона философский конгресс был чем-то вроде осуществления философской демократии, на трибуне которой

он мог развивать свои оригинальные идеи о внутренней связи между логикой и математикой наравне с общепризнанными авторитетами, то Шестову съезд этот должен был представляться, по существу, чем-то вроде "ярмарки тщеславия", толкучим рынком для сбыта поношенного тряпья. В этом смысле оба были правы в своем недоумении: Ительсон по поводу присутствия Шестова, а Шестов — по поводу позднего появления Ительсона. Григорий Борисович Ительсон, весь вид которого, высокая грузная фигура с роскошной седой шевелюрой под широкополой черной шляпой, являл собою аллегорическое воплощение тщеславия, не мог не удивиться, открыв на ярмарочной площади беспочвенника Шестова; эремит же, без роду, без племени и без почвы, Шестов искренне верил, что конгресс в Болонье в лучшем случае — приманка для вездесущих лентяев, как Григорий Борисович, или вот еще для таких любознательных юношей, как приехавший из Гейдельберга с благословения "Русской мысли" несовершеннолетний студент Штейнберг. Если бы не замешался тут Бергсон...

Ительсону, однако, не нужен был никакой Бергсон. Ительсону нужен был Ительсон, да еще квалифицированная аудитория, которая заслушала бы его доклад в секции по логике и математике. Он без лишних церемоний придвинул стул к нашему столику и на правах как бы старшего родственника обратился ко мне: "Я хорошо знаю вашу тетушку Эсфирь Захарьевну (младшая сестра матери Эльяшева-Гурлянд). Если у вас хотя бы десятая доля ее философских способностей, вы сможете оказать мне большую услугу. Дело в том..."

Дело оказалось в том, что Ительсон, органически не любивший писать, — и в этом отношении тоже прямая противоположность Шестову, — устные свои доклады делал всегда экспромтом, и для того чтобы они были включены в печатный отчет конгресса, надо было представить рукопись. А откуда же ей взяться? Вот если я буду присутствовать на его лекции и записывать, доклад его не пропадет. А делать его он будет по-немецки.

Тут вмешался Шестов. "Скажите, — обратился он к Ительсону, — почему вы сами не пишете? Не потому ли, может быть, что когда вы напишете на бумаге, получается так тонко, что вы сами замечаете, что рвется? Не то что у Канта или Гегеля! — у них пряжа грубая, узловатая, ножом не разрежешь, а вот у вас

вот...” Ительсон ошетинился. Мастерство, с которым Шестов отпускал обоюдоострые комплименты, подбитые язвительностью, не было секретом. К тому же совесть у Ительсона была не совсем чиста. Это именно он пустил в оборот каламбур о пяти дураках, которые слушают ”Шестого”. Приходилось перейти от обороны к нападению. Круглое, полное лицо Ительсона побавровело, и мне казалось, что теперь уж не избежать резкого между ними столкновения. ”И зачем это, — думал я, — Шестов так больно наступил ему на мозоль? Теперь у Григория Борисовича полное право заступиться за права человека и Сократа, т.е. философа без полного собрания сочинений”. Судьба, однако, уберегла представителя молодого поколения от непристойного зрелища. Бой не состоялся. Чистое тщеславие победило без боя.

Неподалеку от нашего столика уже несколько минут стояли и прислушивались к разговору две молоденькие студентки университета в Болонье в своих синих бархатных шапочках, явно порываясь подойти поближе. Воспользовавшись моментом затишья перед бурей, одна из них, держа перед собою, как щит, альбом в синем бархатном переплете, подскочила к Ительсону и, сгорая от смущения, попросила его на очень плохом немецком языке написать в ее альбом автограф: ”У меня уже целая коллекция автографов знаменитых философов”. Лицо сурового среброкудрого бойца сразу прояснилось. ”Ах, как это кстати! — воскликнул он с простосердечной улыбкой — Мы тут как раз анализировали, насколько важно в философии закреплять мысли в письменной форме. Так я вам об этом и напишу”. И он написал в альбом студентке — ”Оригинальная мысль прекраснее самого красивого почерка”. Молоденькая барышня необыкновенно обрадовалась, зарумянилась до самых корней черных как смоль волос, оглянулась на свою подружку, поцеловала Григория Борисовича под самые очки и стремительно унеслась. Неожиданно для нас была разыграна басня в лицах. Мораль ее для меня была ясна: она ставила самолюбивого ученого, некогда любимого ученика Менделеева, первоклассного знатока истории греческой математики и новейшей теории чисел, на один уровень с бойкой итальянской студенткой. Но Шестов совсем поник. Он увидел в басне подтверждение тому, что внешность, улы, обманчива и что лучше оставаться в тени, чем быть оцененным не по достоинству.

А я сам? Я сам был сбит с толку. В последующих моих беседах с Ительсоном, в Болонье, Равенне и Риме я неоднократно старался замолвить словечко за Льва Исааковича. Но Григорий Борисович был непреклонен. "Если хотите стать философом, — учил он меня, — не жалейте, а избегайте болтунов". — "Но позвольте, Григорий Борисович..." — "Ничего не позвольте — сами со временем увидите, что все это совершенно безответственная болтовня". Ительсону суждено было еще до Второй мировой войны погибнуть от злодейского нападения на берлинском Курфюрстендаме. Кто знает, может быть, он уже в 1911-ом году предчувствовал великие опасности, грозившие гибелью и ему лично в разнузданной стихии безответственной мысли. А "русский Ницше" посмотрел на Бергсона, выслушал его доклад, был даже представлен ему и уехал с убеждением, что "хрен редьки не слаще — дальше Спинозы и Бергсон не пошел!"

После встречи в Болонье предполагалось, что я снова увижу Льва Исааковича не позже, чем через четыре года, так как следующий Международный философский конгресс, пятый по счету, должен был состояться в 1915-ом году в Лондоне. Но уже в 1914-ом году "состоялась" Первая мировая война. В это время мало кому было дела до философии и до международных съездов. Последовали революции, личные связи рвались, люди теряли друг друга из виду. Смута в умах росла из года в год, и когда стихия выбросила меня, наконец, в 1918-ом году, не без личных моих усилий, на берега Невы, я неожиданно оказался в кругу людей, среди которых неизменно присутствовал Лев Шестов, — присутствовал не физически, но еще более конкретно, как непрерывно действующая духовная потенция.

Действительно, до того, как я покинул Россию в конце 1922-го года, я подружился не только с Ивановым-Разумником, натолкнувшим меня когда-то на Шестова, но и с Ольгой Дмитриевной Форш, принадлежавшей в ранней своей молодости к киевскому студенческому кружку, в котором встречались Шестов с Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым и даже с А.В. Луначарским. Взгляд Бердяева на Шестова определялся категорией "сугубая ересь", но к этому у него примешивалось еще чувство, что корни шестовского "нигилизма" — в его дохристианском иудаизме. Разумник Васильевич шел дальше и по-

стоянно повторял, что Лев Исаакович типичный еврей и что всякая типично еврейская философия должна провозгласить "Ничто" принципом мира.

Но в отличие от обычного юдофобства, для которого якобы еврейское стремление "у-ничто-жить" мир — мир христианский, социальный, культурный — логически влечет за собой как свою автоматическую реакцию обратное стремление к исключению еврейского народа из исторического процесса, Разумник был "духовным революционером". Для него "дух разрушающий" был "духом созидающим", и, следовательно, в его "юдофобстве" была слитность чувств, делавшая его неотличимым от "юдофила". Разговоров об этом у меня было много не только с Разумником Васильевичем, но и с Блоком, и с Бердяевым, и, в конце концов, с Шестовым. Он, однако, в противовес своим прежним друзьям, включая О.Д. Форш, всячески подчеркивал, что все они "страшно преувеличивают" и в какой-то мере не совсем свободны от антисемитского уклона. Моя догадка, сводившаяся в переводе на психологический язык к тому, что Шестовым руководит неутолимая страсть самоутверждения, что можно было бы, впрочем, забыв третье измерение, сказать и о Гегеле, и о Марксе вкуче и влюбле с Лениным, вызвала, когда я однажды эту гипотезу развил с эпическими иллюстрациями, решительный протест Разумника Васильевича и внушила ему горячую, докапывающуюся до "корней и нитей" отповедь. "Нет, нет! — воскликнул он, — грешно смешивать Льва Исааковича с толпой наших заурядных литераторов, журналистов и критиков, в которых, конечно же, главная пружина — амбиция, самолюбие и того похуже. Верно и то, что среди них очень много, ну, скажем, в процентном отношении, очень много евреев. И это, пожалуй, не случайно. Вы же не будете отрицать того (не о вас, конечно, говоря), что евреи, отказывающиеся от еврейского происхождения, прежде всего, своего собственного, охвачены "древним ужасом", знаете: *Terror antiquus*. Им не легко жить без корней, без почвы. Они не Шестовы. И поэтому они настаивают, — на смех врагам, — что они русские, французы, немцы, что у них нееврейские национальные корни. Я тоже думаю, что без национальных корней не может быть ни литературы, ни музыки, ни философии. Но Льву Исааковичу нет нужды утверждать себя как одиночку. У него есть корни. Его беспочвенность — не без почвы. У него еврейская почва —

мудрость тысячелетий... Вы знаете его лично, но вот если бы вы знали его отца Исаака Шварцмана! С виду — просто богатый киевский купец, каких видишь везде, еще не научившийся чисто и правильно говорить по-русски. А сколько мудрости за их шепелявым произношением! Когда говоришь с отцом Шестова, сразу видишь, куда уходят его корни и нити. Вот для примера афоризм, который можно назвать "Философия и теология". Я был свидетелем его создания в последнее предвоенное лето в Берлине. Пожалуй, и Льву Исааковичу, несмотря на его огромный природный талант, далеко до такого глубокомыслия!"

Весьма сдержанный по натуре, Разумник Васильевич загорелся восторгом рассказчика, и суть его рассказа врезалась в память мне со всеми подробностями.

Перед войной Берлин часто бывал узловым пунктом для русских, ездивших за границу для встречи с родственниками, друзьями из разных концов России. Так съехались там в последнее лето перед войной семья Шестова, его царскосельский друг Иванов-Разумник и молодой его приятель, учившийся тогда в Иене, Евгений Германович Лундберг. Старый Шварцман любил разговаривать с каждым: расспрашивать, учиться, а иногда — с невинным видом — и поучать. Увидев впервые Лундберга, будущего критика и теоретика искусства, он осведомился, откуда тот родом, давно ли знает его Леву, женат ли и чему учится в Иене? Услышав, что Лундберг учится на двух факультетах, философском и теологическом, отец Шестова попросил объяснить ему точно, что это за наука такая — теология. Лев Исаакович поспешил подсказать, что это то же самое, что богословие. Но старик не унимался и стал не без сарказма, столь характерного для стиля его сына, рассуждать вслух: "Богословие... Слово о Боге. Ох, как интересно! Лева все время говорит, что философия тоже наука о Боге, а есть, выходит, еще отдельно о Боге, как вы говорите. Это трудно понять без высшего образования". Он задумался, забарабанил пальцами по чайному столику и вдруг снова обратился к Лундбергу: "Скажите, молодой человек, вы вот учитесь философии, богословию, и Бог знает еще чему, а вы знаете как гуси спят?"

Всеобщее напряженное удивление. "Не знаете? Так я вам расскажу. Когда гуси ложатся спать, они сначала роют лапками в песке ямку, ложатся в нее, голову под крыло и спят.

Почему? Потому что у гусей где жир? Весь на спине, а спереди — ничего, так спереди холодно, холодно спать. Но в ямке — тепло как в перине, а сверху есть жир, теплый пуховик, так тоже тепло — можно спокойно спать. А как куры спят? Совсем наоборот. Вечером, как холодно, куры подлетают вверх, под потолок курятника (не заметили?) и спят на шестках под крышей... Почему? Где куриный жир? Не как у гусей — позади и наверху, а спереди и снизу. Значит, внизу ничего не нужно — свой жир греет, а наверху нужна теплая крыша... Верно? (Автор афоризма обвел всех глазами.) А вот у вас, молодой человек, может быть, нет собственного жира, ни спереди, ни сзади, ни снизу, ни сверху — так вам и философия нужна — теплая ямка в земле, и богословие — теплое слово Бога на небе. Верно?"

"И поверьте, — закончил, раскуривая трубку, свой рассказ Разумник Васильевич, — с тех пор Евгений Германович никогда больше не упоминал два факультета, а у нас завелось обрывать заносчивых спорщиков вопросом врасплох — "а вы знаете, как гуси спят?"

Мы сидели с Разумником Васильевичем на скамейке Летнего сада. Шел 1920-ый год. Петербуржцы говорили, что такого блистательного лета они не помнят. Возможно, что пустынность Петербурга в этот роковой год, само его безлюдье, создавали глубокий прозрачный фон, влекущий взоры в беспредельность. Басня о богоспасаемых гусях и безбожно кудахтающих курах заставляла задуматься. И вот, устремив взор сквозь великолепную решетку литых ворот Летнего сада вдаль, за изгиб Невы, я, неожиданно для самого себя, спросил: "А вы знаете, как Шестов спит?"

Разумник Васильевич встрепенулся. Мне показалось, что он мой вопрос воспринял как-то на свой счет, как если бы меня подмывало остро кольнуть не одного Льва Исааковича, но и всех, кто с ним и за него. Редкие усы под косящим взглядом затопорщились; положив погасшую трубку на "Северную комму", лежавшую у него на коленях, Разумник Васильевич сказал не без задора: "Если хотите — знаю... Лев Исаакович вообще не спит!"

И тут же на скамейке в совершенно безмолвном парке Разумник Васильевич развил свое замечание в целую статью, в обычном, свойственном ему одному, стиле, под заглавием, которое подразумевалось, — "Спящие и бодрствующие". Жаль, что

в связи с обстоятельствами того времени статья эта, как и бесчисленные другие экспромты подобного рода той эпохи, осталась ненаписанной. О Льве Шестове ныне существует целая литература на многочисленных языках. Но не думаю, чтобы кто-нибудь более правдиво выразил расплывчатую оригинальность Шестова как писателя и человека, чем Иванов-Разумник в тот легкий петербургский предвечерний час.

Разделив наших современников, следуя обычной своей манере, на две группы: "спящих" и "не спящих", "историк русской общественной мысли" сначала разделался с еще не проснувшимися: "Ну разве не видно и не слышно сразу, что Мережковский, например, продолжает убаюкивать самого себя своей незатейливой колыбельной песенкой — бездна вверху и бездна внизу, две нити вместе свиты; колыбелька качнется влево, колыбелька качнется вправо, а Дмитрий Сергеевич Мережковский и ныне там..." От Мережковского легко было добраться до Горького и его соратников. "Поистине сонное царство! То, что уже при них готовилось в мире, в чем они, того не сознавая, сами участвовали, нисколько, ну ни единым краешком, их не задело; жизнь для них продолжает идти нормальным ходом, а они горько жалуются, что сквозит, что дверь сорвалась с петель; об урагане же, который сорвал дверь с петель, они не знают и знать не хотят. Ну и пусть себе спят на здоровье. Другое дело бодрствующие. Оглянитесь кругом. Блок бодрствовал чуть ли не с младенческих лет. И Белый тоже (вчитайтесь в "Котика Летаева"!), и Толстой, и Чехов, и точно так же Лев Шестов. Не в писаниях его дело, а в их духе! Самое тихое, спокойное и мирное, казалось бы, у него насквозь пронизано грозой и бурей. Читаешь, читаешь и вдруг замрешь в смятении. Так вот оно как! Все нипочем и ни к чему, и это так просто, так ясно и прозрачно... Ох, скажу я вам, страшный человек — Лев Исаакович! Чем проще и уютнее, тем страшнее... Вы знаете, я теперь занят своей "Антроподицеей". И в посильных моих попытках "оправдания человека" я погрузился в изучение Ветхого Завета. Читаю его и иногда все кажется, что тон, так сказать, знакомый. Ну да! Звучит как у Шестова: в простоте Твоей мироздание творится и рушится... Тут и Вавилонская башня, и Содом и Гоморра, и паскалевское бесконечно малое и бесконечно большое (простите старому математику шаблонные понятия). Нет, что и говорить, Лев Исаакович Шестов из бодрст-

вующих — бодрствующий. А что до слабостей и недостатков, — так кого же "оправдывать", коли не настоящего человека!"

Как бы для того, чтобы закруглить свою статью-экопромт, Иванов-Разумник закончил ее анекдотом: "Я отлично знаю, что Лев Исаакович еще и теперь не любит, когда ему напоминают о еврейской Библии, но я свое отношение никогда не держал от него в секрете. Когда я был в Киеве у них дома, я познакомился с шурином Льва Исааковича, мужем его сестры, композитором Германом Леопольдовичем Ловцким. Вспомнили, между прочим, Ремизова, Алексея Михайловича, которого все знали. И вдруг шурин Шестова сообщает, что он написал музыку на "Красочки" Ремизова. Я оторопел. На "Красочки" Ремизова?! Да чтобы их правильно воспринять и почувствовать, сколько надо иметь за спиной поколений из Замоскворечья, сколько пудов кислой капусты надо съесть!? Бог знает что надо! А тут... Ну, ясное дело, музыка оказалась "курам на смех". Лев Исаакович заметил мое впечатление и затем, наедине, коснулся неприятной темы:

— Горячий он, знаете, родственник!

— Ну скажите, почему ваш шурин не ищет вдохновения для своих композиций в чем-либо, что ему ближе по духу?

И представьте себе, Лев Исаакович едва не рассердился.

— Ближе по духу, ближе по духу! Разве дух не дышит, где хочет? Помилуйте, Разумник Васильевич! Вы как бы во сне или со сна говорите!

Вот тогда-то и выскочила у меня антитеза — спящие и бодрствующие. Лев Исаакович открыл мне глаза. Подождите, подождите, он еще сядет на землю, посыплет голову пеплом и такими иеремиадами изойдет, что весь мир огласится..."

В конце того же 1920-го года мне пришлось продолжить подобный разговор о Шестове с Николаем Александровичем Бердяевым в Москве. Разговаривая поздно вечером в его слабо освещенном и слабо протопленном кабинете в одном из переулков, отходящих, насколько помнится, от Поварской, о наших общих знакомых, я не мог не сравнить скромные остатки уютного барски-интеллигентского быта в Москве с мерзлой гарью, в которой мы жили в питерском царстве жестяных печурок-"буржук" и щербатых лампад-"коптилок". "Недаром, — заметил я, — Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна Мережковские уже до войны воскресили пророчество, что Петербур-

гу быть пусту!" — "Это, — отозвался Бердяев, схватывая правой рукой взлетевшую непроизвольно вверх левую руку, — это у них от него..." И разговор сразу перешел на Шестова.

Оба они, Шестов и Бердяев, были еще очень молоды, рассказывал Николай Александрович, когда трагическое ощущение жизни стало ввергать Шестова в безвыходный нигилизм. И хотя сам Бердяев был тогда все еще весьма близок к марксистскому материализму, шестовское неверие, сомнение и отрицание заходили так далеко, что не оставалось места не только для духа, но даже для самой легковесной материи. "Его нигилизм, — продолжал вспоминать Николай Александрович, — отрывал Шестова от всего кругом, от всех окружающих. Вид его был унылым, просто жалким.

— Это в тебе говорит мировая скорбь иудеев.

— Почему иудеев? При чем тут множественное число? Если я когда-нибудь выражу свое понимание литературы, это будет моя личная ответственность. Не хочу, чтобы другие отвечали за меня... За твоего Маркса тоже отвечают "иудеи"? И спроси Луначарского, кто отвечает за его Спинозу? Что бы ни случилось, ты будешь отвечать за себя, а я, и только я, за себя.

Мы теперь далеко разошлись, но мне ясно, что прав был я, а не Шестов. А что еще дальше будет?"

Совсем как Иванов-Разумник, Бердяев не сомневался в том, что где бы Шестов ни был, он "бодрствует" и, несмотря на свои пятьдесят лет, еще может удивить современников резким поворотом, если не скачком, в своем развитии. И так же, как Иванов-Разумник готов был ожидать "возвращения" Шестова в лоно "скифства", так и Бердяев не исключал возможности обращения Льва Исааковича в христианство. Ни того, ни другого не произошло, но после еще двух почти десятилетий странствий по извилистым путям Лев Исаакович "вернулся" к себе и "обратился" в веру праотцов, как он ее толковал. "Видите! Что я вам говорила!" — воскликнула по этому поводу старая киевлянка Ольга Дмитриевна Форш, очутившись в конце двадцатых годов на короткое время за границей. Однако среди старых друзей Шестова она занимала особое положение. Она всегда и упорно не верила в его неверие.

Два года спустя мне удалось уехать за границу. Шестов в это время жил в Париже. Отца его уже давно не было в живых,

но престарелая мать его, брат и сестра, специалист по психоанализу, Фаня Исааковна с мужем Германом Леопольдовичем Ловцким поселились в Берлине. И Лева их ежегодно навещал.

Шестову было уже под шестьдесят, а матери за восемьдесят. Почтительность "Левочки" к "маме" была совершенно исключительной. Вообще, вся обстановка обычной шарлоттенбургской меблированной квартиры, в присутствии среброголовой киевской "дамы" и ее приближающегося к старости сына, странно преображалась. Седая мадам Шварцман не просто сидела в своем кресле, а с величественной матриархальностью, обложенная подушками, восседала в нем. Старший же ее сын, Лев Шестов, прежде чем заговорить, каждый раз как бы просил у нее слова. Видно было, что для него "посидеть с мамой" было значительным событием, и можно без преувеличения сказать, что тот, кто не видел Шестова в этой обстановке, не мог воспринять его загадочности во всех ее измерениях.

Когда я впервые оказался в этой обстановке и почувствовал себя не в своей часовне, Лев Исаакович немедленно пересек мою сворачивающую в сторону тропинку, сообщив матери, что гость их читает Библию в оригинале. "А вот, — прибавил он благодушно, — меня не научили!" Я сразу был как бы приобщен. Между матерью Шестова и мною мгновенно установилась дружба, похожая на ту, которая связывала меня с моею собственной бабушкой, а этого-то и нужно было Льву Исааковичу. Он проявил, как уже много раз в прошлом, умную чуткость, происхождение которой не могло вызвать сомнений. Материнская умная чуткость была, очевидно, под стать отцовскому чуткому уму.

Я спросил Льва Исааковича, дошла ли до его матушки знаменитая басня о гусяном и курином жире. Шестов развеселился и объяснил матери, что гость хочет передать умное словечко отца, которое передается из уст в уста среди русских писателей, и, обратившись ко мне, прибавил вполголоса: "Не думаю, что это по ее части, но попробуйте — популярно, как можете". Вдовствующая повелительница семейного круга прервала сына на полуслове: "Что, что?! Я не пойму? Если это из святой книги, да еще добавок и объяснить — почему же я не пойму?!"

Хотя басня про два факультета и не была из Священного Писания, а "добавочное объяснение" ее могло бы занять целый

вечер, между нами очень быстро установилось взаимное понимание. Прежде всего оказалось, что мать Шестова отлично знала, каким образом домашняя птица спит, и у меня даже возникло подозрение, что благоверный ее, дорогой ее покойник, в этом отношении кое-чему от нее научился. Она знала, что в Танахе (Библии) прямо написано: "Цадик (праведник) живет своей верой", и продолжала уже от себя: "Если есть вера, не нужен никакой жир. Если люди верят — им тепло, а без веры даже две школы вместе не согреют... Исаак, блаженной памяти, был прав: тот молодой человек был и гусь, и курица, — и не гусь, и не курица". Комментарий матери к моему "добавочному объяснению" всех развеселил, а меня озарило — у самого Льва Исааковича с раннего детства были не "две школы", отца и матери, а всего лишь одна — материнская, в которой, разумеется, не переставал учиться всю жизнь и отец его.

Пустились в воспоминания. Между Шестовым и его матерью я был чем-то вроде "третьего для сравнения". Многие намеки матери Шестова на библейские сказания уже не были понятны сыну, а в его рассуждениях о Киркегоре, к которому он в это время подходил вплотную, было немало такого, что становилось доступным матери лишь в переводе на разговорный еврейский язык. Среди много другого я услышал и о том, какое глубокое впечатление произвел на отца Шестова, Исаака Моисеевича Шварцмана, трактат Киркегора о вере праотца Авраама и его готовности принести в жертву Господу своего единственного любимого сына Исаака. Лев Исаакович должен был передать отцу весь текст почти дословно. После долгого раздумья отец Шестова сказал: "Твой новый Раши (сокращенное имя известного еврейского средневекового комментатора) — простой юдофоб... Вот из-за таких у нас в Киеве — дело Бейлиса. Если Авраам может из-за Бога резать сына, своего мальчика, почему же Бейлис не может проливать кровь чужого мальчика, Андрюши Ющинского?" И Лев Исаакович пояснил, что по толкованию его отца весь библейский рассказ об Аврааме и Исааке лишь притча для внушения детям такого же доверия к родителям, какое праотец Авраам проявил к Господу Богу. "Тем не менее, — прибавил Лев Исаакович, — отец сам явно не был удовлетворен своим толкованием, потому что закончил его своей любимой концовкой — "себе дороже стоит".

Я, конечно, не понял, что значило "себе дороже стоит", и

это сразу было замечено вдовствующей председательницей: "Вот сейчас объясним". И что же я узнал? В семье Шестовых с давнего времени, когда дети еще были совсем маленькими, любили решать непосильные задачи: зачем Бог сотворил человека, да и мир вообще? зачем то, зачем другое? Дети прислушивались, а старшие, особенно Лева, иногда и сами проталкивались в гущу разговоров. В таких случаях отец останавливал их обычно насмешливым словом или жестом и очень часто при этом приговаривал: "Не спеши, не прыгай – себе дороже стоит". Тут Лев Исаакович, как в доброе старое время, "протолкнулся" в разговор его матери со мною и, шаловливо подмигивая (иначе не скажешь), дал подробнейшее подстрочное примечание к отцовской теории цен; он был, очевидно, рад задержаться подольше около домашнего источника ранних своих вдохновений и проявил какое-то наивное удовлетворение по поводу родовитости собственной "шестовской" мудрости.

"Постараюсь разъяснить эту теорию вкратце. Деловой опыт научил отца, что годовые балансы убытков и прибылей очень часто обманчивы. Казалось бы, что год закончился удачно, с солидным избытком барышей над потерями, а на самом деле счет включал доход с предприятия, которому суждено было скоро лопнуть и оставить после себя широчайшую течь. Волей-неволей приходилось "спускать" какой-нибудь продукт нового производства по цене, более низкой, чем ее себестоимость. На такой оборот дела, когда нужно разрубить "гордый" узел, как называл гордиев узел отец, хотя бы и со значительным убытком, он смотрел неизменно как на спасительный урок и охотно применял такой урок и в делах духовных. Что толку помещать душевный капитал в распутывание узлов, которые и топором не разрубишь! Раньше или позже все равно придешь к выводу, что себе дороже стоит. Так уж лучше раньше, чем позже. Не могу не сознаться, что чем больше живу на свете, тем чаще повторяю про себя отцовское присловье: "себе дороже стоит".

Мать Льва Исааковича, слушая сына, раскраснелась, упиваясь интонацией, тем тоном умиленной насмешки и просто-душного удивления, как бы сросшимся с рассказами из еврейского быта, которым рассказчик, как оказалось, мастерски владел. Мне вспомнились мои беседы о философе Шестове с Ивановым-Разумником в Петербурге и Бердяевым в Москве, а до этого – с самим собою в Гейдельберге, и я тут же подумал:

"Век живи, век учись". В этот вечер, однако, "школа" рано закрылась. Вернулись из театра сестра Льва Исааковича с мужем. Мы условились с ними, что будем встречаться и после отъезда Льва Исааковича. "Ай-ай, — сказала дочери мать, когда я встал, чтобы проститься, — ой-ой, как много ты, Фаничка, пропустила. Лева так замучительно (через У) рассказывал о папе... Верно, молодой человек?" Она искала у меня поддержки. — "Совершенно верно".

"Так скажите же мне, — спросил я несколько недель спустя Фаню Исааковну за тем же чайным столом, — значит ли это, что брат ваш, разоблачивший, если можно так выразиться, самого Толстого, в каком-то смысле приближается к теме его "Исповеди" и приблизительно в том же возрасте, что и Лев Толстой? Как странно..."

"Ничуть не странно, — отозвалась очень похожая в движениях головы и плеч на Льва Исааковича сестра его, — вы ведь знаете, что я последовательница Зигмунда Фрейда. Представьте себе, стараясь понять произведения Льва Толстого и его самого с психоаналитической точки зрения (я теперь как раз пишу об этом), я обнаружила неожиданно, как много общего в структуре личности Льва Исааковича и Льва Толстого. Брат очень не любит психоанализа, не доверяет этому и смотрит свысока. А это тоже симптом. Как и для Толстого, писательство для нашего Льва было, главным образом, средством утвердить себя как главу семьи. Естественно, что он соперничал с покойным отцом. Отец — Шварцман, так он — Шестов. Фамилия нарочно не еврейская, а русская. Общего только одна начальная буква! Это ничего не значит, что его до сих пор радует услышать похвалу уму отца. Для него это подтверждение того, что он его настоящий наследник, преемник отца, вполне достойный его заместитель. Надо видеть как Лев преображается, когда бессознательно начинает подражать отцу — его жестикауляциям, его интонациям! Ясно, ему доставляет глубокое удовлетворение, что отца уже нет, а если он есть, то только в нем самом, в создавшем себя Льве Шестове — как бы продолжающееся отцеубийство". Фаня Исааковна говорила быстро, возбужденно, она раскраснелась, как когда-то ее мать, слушая сына. С жаром, проникнутым искорками ярости, она сводила какие-то старые, очень сложные счеты, ей нужен был слушатель, почти на целое поколение моложе ее, который мог бы когда-нибудь, в буду-

щем, так же "разоблачить" Льва Шестова, как он сам разоблачал по косточкам двух великих писателей. Она сама ни на минуту не сомневалась, что она сестра великого человека, а потому, естественно, и редчайшего невротика. К этому времени у меня уже был накоплен достаточно обширный опыт в подобных откровенных беседах "по душам", и тем не менее меня поразило такое полное отсутствие стеснительности: моя собеседница давала волю чувству раскаленной мстительности совершенно безоглядно. Мне было неловко, и я попытался "заступиться" за Льва Исааковича, точно так, как лет за пятнадцать до этого в Болонье перед Ительсоном. Но точно так же, как Ительсон тогда, так теперь сестра Шестова прервала меня, чуть только я попытался вымолвить слово.

"Ах, оставьте! Я знаю, что вы пристрастны к брату потому, что он пристрастен к вам. Ну подумайте только! Чем он занимается? Всегда невротиками. Уже первая его книга о Шекспире и Брандесе, критике Шекспира, которого я недавно перечитала, есть попытка анализа двух невротиков. То же о Толстом и Ницше! О Достоевском и говорить нечего, а вот теперь он носится со своим Киркегором, вся жизнь которого — непрерывно усиливающийся невроз. Не знаю, известно ли вам, что Георг Брандес дружил с Киркегором. Брандес же открыл Ницше. Вы видите, какая логическая последовательность в работе брата? От Брандеса к Киркегору и, значит, снова к Брандесу. Без психоанализа это была бы сплошная загадка, но в наше время нетрудно увидеть, что, анализируя своих литературных пациентов, Лев пользовался ими как масками, а занят он был все время самим собой, самоанализом. В его работе над собой — предвосхищение психоанализа. Он очень и очень не любит, когда ему об этом говорят, например, когда я заговариваю с ним на эту тему. Меня Лев уже давно считает своим врагом. Почему мой учитель — Зигмунд Фрейд, а не Лев Шестов?! Он не хочет понять, что ему суждено то, что называется бессмертием, именно благодаря фрейдианству, как одному из самых выдающихся предшественников Фрейда. В этом свете, заодно с его творчеством, его личность представляется как живое целое, со всеми недостатками, слабостями и даже пороками. Впрочем, — спохватилась вдруг Фаня Исааковна, — я говорю и говорю, а вам, может быть, и неинтересно?"

"Очень интересно".

”Видите ли, вы напоминаете мне внешне вашу тетушку Эльяшеву, Эсфирь Захарьевну, которая тоже училась философии в Берне в мое время. Мы иногда часами откровенничали друг с другом. Я уже тогда критиковала брата, а она говорила, что его главный недостаток тот, что он отвергает Канта. Но при чем тут это? Если человек проявляет безграничный нарциссизм, самовлюбленность и в то же время крайне неуверен в себе, чувствует себя окруженным врагами, так тут никакой Кант не поможет. Нужен анализ. Ведь Шестов не мог простить мне того, что я вышла замуж за Германа, для меня была намечена им особая роль. Кроме того, уже тогда он стал проявлять болезненную скупость — вернейший признак серьезного невроза...”

Мне стало совсем не по себе, в уме завертелось: ”Не о тебе ли говорится в этой песенке, сестрица?” С подчеркнутой скромностью я стал расспрашивать ее, существует ли уже в литературе психоаналитический разбор, например, скупого рыцаря, Плюшкина или им подобных героев?

”Ради Бога, не отвлекайтесь в сторону! Когда такой человек, как мой брат, располагавший в то время большими средствами, отказал в материальной помощи страшно нуждавшемуся Ремизову (вы можете себе представить, как нелегко было Алексею Михайловичу и Серафиме Павловне просить деньги у брата!), то тут уж нечего раздумывать — это злокачественный нарост на психике! Его вечная неудовлетворенность собственной работой и острое желание снискать одобрение людей, которых сам Лев не очень-то признавал, — что это? Если бы он мог, он поставил бы вопрос о собственном значении на всенародное голосование. Поэтому-то он и соперничает постоянно с каждым, кто уже сдал экзамен на признание. По существу же, конечно, Лев человек необыкновенный, и я надеюсь, что он добьется своего и выйдет на предназначенную ему дорогу”.

Ну, слава Богу, наконец-то договорились! — подумал я. Но неужели Фаня Исааковна, в свою очередь, соперничает со Львом Исааковичем? Семейка, нечего сказать! Прямо в роман просится. Минуту спустя, уже в гораздо более спокойном тоне, не слишком сдержанная сестра ”великого человека” продолжала:

”Вы можете подумать, что я в каком-то смысле соперничаю с братом и потому так подчеркиваю значение научного под-

хода к нему, в данном случае психоаналитического метода, т.е. того, что Льву совершенно чуждо и непонятно. На самом же деле верно как раз обратное. Я жду не дождусь, когда, наконец, "Лев Шестов" постигнет, что он не ученый, не литератор и не философ в современном академическом значении этого слова, а что он представляет собою нечто гораздо более значительное... Откровенно признаюсь, что я, в сущности, не знаю, что такое религия, но и наша мать тоже не знает, хотя вся ее жизненная сила в религии. То же с братом. Ему пора разоблачить самого себя, а он все прячется. Потому-то я и злюсь", — она рассмеялась и, приподняв худощавые плечи, наклонилась ко мне, ну точь-в-точь как ее брат, когда он насильственно преодолевал уныние.

"Просто смешно! Я, как Лева, все говорю вокруг да около, а то, что я хочу сказать, вовсе не так сложно, только надо иметь смелость это высказать".

Она опять с минуту помолчала, а затем с очень серьезным лицом, впиваясь в меня взглядом, сказала: "Мой брат мог бы воскресить в наш век истинную веру, а он... а он..." Голос оборвался, она быстро поднесла к глазам кружевной платочек.

По дороге к себе и еще очень долго у себя дома я перебирал в уме то, чего я наслушался у сестры Шестова. Конечно, ее суждения о брате были предвзятыми. Очевидно, это общая черта всей семьи. Однако же в одном надо было согласиться с Фаней Исааковной, а это была, по всей вероятности, настоящая подоплека несуразной пляски ее чувств: если Лев Шестов — загадка, если увидеть его в полусвете современных сумерек, то соизмерим он лишь с загадками мировыми. Я перебирал и сравнивал отзывы, доходившие до меня в неожиданном виде от людей, хорошо знавших Шестова, начиная с Григория Ительсона и кончая Ивановым-Разумником, Бердяевым, Ремизовым и Ольгой Форш. Ольга Дмитриевна обрушилась однажды с полувосточной страстностью своей на мелочность Льва Исааковича: "Подумать только, и это называется великий мыслитель, великий печальник рода человеческого!" Она не могла простить ему бессердечности, якобы проявленной Шестовым к ее сыну Диме. "В киевские годы мы таких называли "рыцарями Денежки", а теперь, в эмиграции, он превратился в истинно русского "сантимника". Я не сомневался, что тогда, в 1922-ом году, Ольга Форш искренно была разочарована в Шестове и что

именно поэтому она, может быть, так страстно была придиричива. Возможно, что и обида родной сестры Шестова, сводившей счеты с братом, основана на той же почве и отождествляется с обидой четы Ремизовых? Не кроется ли во всем этом нечто антимужское? "Ага! — продолжал я рассуждать сам с собой, — провел вечер в кулуарах Фрейда и сразу заразился фрейдизмом!" Но тут меня осенило... Я нашел ключ, который впоследствии всегда оставался у меня под рукой.

Я думал, что не случайно две женщины так глубоко задеты действительными или воображаемыми слабостями Льва Шестова. И подкладка тут, пожалуй, женская. Конечно, это только подтверждает особое чутье, особую женскую восприимчивость по отношению к целостности человеческой личности. Совершенство для женщин не только идеал, но и реальное восприятие того, что могло бы осуществиться. Они, женщины, больше в потенции, чем в действии и действительности. Вот почему им так трудно примириться с проявлением неопределенного несовершенства. Для Разумника Васильевича Шестов — законный владелец почетного места в книжном шкафу, интересный экспонат на всемирной выставке русской литературы, а в каком переплете, в каком сплетении человеческих черт он подан потомству, — вопрос неинтересный и почти неуместный. Так же точно и для Бердяева все "человеческое, слишком человеческое" остается в "русском Ницше" за изгородью кладбища идей; на нем, на кладбище этом, останется надгробный камень с им, Бердяевым, сочиненной эпитафией. Чего же больше? Иное дело родная сестра; иное дело Ольга Форш, которая, чувствуя тягу к кому-либо в особенности, не задумывалась признаться вслух в своей "братской любви". Шестова Ольга Форш когда-то, как-то по-своему очень любила. И его неприятие на скошенных полях разочарования, естественно, торчит острым укором: сколько было раньше теплоты и восторженного признания, столько градусов жгучего колючего мороза осталось после разочарования в отвергнутом идеале. Из всего этого как будто следует, что, по существу, на Шестова невозможно было не возлагать какие-то необыкновенные надежды, что в сути его было нечто сродни, ну скажем, к примеру, — Блоку, который кончил, и так рано кончил, отчаянием и разочарованием в самом себе.

Шестов и Блок — какое неожиданное сопоставление, —

продолжал я спорить с собою уже после того, как выключил свет, — не годится это: ни как сопоставление, ни как противопоставление. Разве что обоих включить в исключительно широкую картину человеческих судеб, в свете красок которой нет ни эллина, ни иудея. И не в том ли дело, что Шестов не пародия, а анахронизм? Эта, еще не совсем ясная для меня формула усыпила меня как снотворное.

В последующие годы, почти до самой катастрофы в Германии в 33-ем году, я продолжал присматриваться, задумываться, расспрашивать о Шестове и близких его и самого Льва Исааковича. Очень помогло мне в это время недоразумение, в котором я сам был повинен. В конце двадцатых и начале тридцатых годов Шестов, наезжая из Парижа в Берлин, останавливался в Тиргартене, в вилле почитателя своего, известного специалиста по психоанализу, доктора М.Т. Эйтингона, тоже киевлянина. Приезды Шестова в Берлин давали поэтому доктору Эйтингону желанный повод собирать у себя, наряду с людьми собственной школы, также и эмигрантскую интеллигенцию из разных стран. Иногда хозяйке этого "психоаналитического" салона Надежде Эйтингон удавалось склонить Шестова прочесть гостям "что-либо из своего". В тот вечер, о котором идет речь, среди гостей неожиданно-негаданно оказалась прославленная русская певица Надежда Васильевна Плевицкая, сопровождаемая генералом Скоблиным и прочей свитой. Она еще не завершила своего пышного цветения и, заигрывая то с тем, то с другим из своих поклонников, не пропустила и Льва Шестова. Остановившись в середине обширной гостиной против кресла Шестова, она низко, в пояс, поклонилась ему и то ли сказала, то ли пропела в истинно народном стиле: "Мудрейшему из мудрых, Исаакию Львовичу (!) Шестову — честь и слава!" Ее прекрасный, полный голос прозвенел и замер, и... и всем, или так, по крайней мере, мне показалось, стало стыдно. А Шестову?..

Шестов смутился, как мальчик. Он привстал и снова сел в почетное свое кресло, замахал длинными руками, коричневыми пальцами вытащил из кармана скомканный платок и ответил не то на прославление Плевицкой, не то на предложение хозяйки "прочесть что-либо из своего": "Хорошо, — сказал он, — я сейчас принесу что-нибудь сверху". Послышались вздохи облегчения. Неловкость рассеялась. А сильно нарумяненная певица,

”руки в боки”, оглядывала всех победоносным взглядом.

Мне стало очень обидно. Лев Шестов! Какая-то балаганная фигура для ублажения Бог знает какого калибра публики! Мне это показалось нестерпимым издевательством. ”Скажите, Петр Петрович, — повернулся я к сидевшему рядом Сувчинскому, — кто режиссер этой непристойной сценки? Неужели сама Плевицкая?” — ”Ах, — взволновался грузный поклонник и приятель Надежды Васильевны, — ее не троньте, она неповторима в каждой своей интонации. Подумать только! Шестов и Плевицкая — да это просто в историю просится!..”

”Ну и попали же мы в историю”, — раздражительно и сердито скаламбурил я про себя, не поднимая глаз на вернувшегося со свертком листов в руках Шестова. На него-то я больше всего и сердился. Как это он так легко может опуститься до уровня салонной ”приманки”! ”Непременно, — старался я утихомирить самого себя, — выскажу все это ему при случае”. Случай подвернулся скорее, чем я мог ожидать.

В гостиную внесли небольшой стол, покрытый скатертью, поставили с двух сторон свечи и засадили за него не ”Исаакия Львовича”, конечно, а Льва Исааковича. Покуда публика передвигала кресла и стулья поближе к ”кафедре”, Шестов разложил перед собою свои листки (почтовой бумаги, как мне показалось) и стал подбирать и складывать их в каком-то своем особом порядке. Все еще сердясь и возмущаясь, я насторожился и стал слушать.

Первый отрывок (афоризм!) был озаглавлен, как сообщил глухим замогильным голосом явно сконфуженный чтец, ”Философ из Милета и фригийская пастушка”. Усевшаяся неподалеку Плевицкая не могла удержаться и с напевным шепотом снова как бы низко поклонилась Шестову: ”Ах, как хорошо, ха-а-ра-а-шо!” Это ее восклицание меня снова больно кольнуло, и я бросил на Сувчинского не взгляд, а молнию. А Шестов начал читать.

Суть афоризма состояла в том, что о Фалесе из Милета рассказывали, будто голова его всегда была занята возвышенными мыслями, которые не давали ему замечать то, чем занимались обыкновенные люди, что происходило вокруг него. Взоры его всегда были обращены вверх, к звездам. Так, однажды вечером, прогуливаясь в окрестностях родного Милета, прародитель досократовской метафизики, привыкший пренебре-

гать тем, что у него под ногами, не заметил, как подошел к самому краю глубокой цистерны, оступился и грохнулся в воду. Тихий вечер огласился звонким смехом. То была молодая фригийская девушка-пастушка, гнавшая коз с пастбища в город. "Спрашивается, — закончил свою первую притчу Шестов, — кто же прав? Мудрец, не смотревший себе под ноги, или фригийская девушка, которой Фалес своей нарочитой слепотой дал повод звонко рассмеяться? История философии считает, что прав был Фалес; весьма возможно, однако, что мудрее мудреца из Милета оказалась смешливая пастушка, гнавшая на ночлег милетских коз".

"Ах, как замечательно! Как прекрасно!" — хлопала в ладоши восторженно, как маленькая, Плевицкая. Другие гости, специалисты по психоанализу и несогласные с ними приверженцы всякого рода синтезов, бормотали что-то про себя или на ухо ближайшего соседа. Но в общем-то гул голосов звучал одобрительно и уважительно. Хозяйка сияла, и даже немка-горничная обносила гостей пирожками, горделиво закинув голову с белой наколкой. Я окончательно рассердился. Как не раз до того и после, мне стало мерещиться, что все это дурной сон, в который я закинут по собственной непростительной неразборчивости. А Шестов продолжал читать.

От эллинов он перешел к иудеям, от досократовских философов к еврейским пророкам. Выходило, что Библию надо понимать дословно, что неразумно считать рассказы о чудесах — суеверием. Во всем этом были отзвуки первого афоризма: еще неизвестно, не окажется ли мудрость современной науки камнем преткновения на самом краю цистерны с живой водой. То-то будет смеху! Я рассеянно слушал и настойчиво внушал себе: "Надо объяснить..." Шестов, между тем, переключивал листки справа налево, и когда они все оказались там в полном сборе, протянул правую ладонь с растопыренными пальцами в сторону слушателей, как бы внушая, что больше ничего не осталось, сами видите, пусто... Со всех сторон — возгласы одобрения. А сквозь шум и гул снова прокатился — в который раз! — круглый сочный голос Плевицкой: "Леонтий Исаакович, браво, браво!" Хозяин предложил побеседовать. Воцарилось, как говорится, мертвое молчание. Переглядывались, улыбались. Может быть, не догадывались, о чем тут говорить, о чем тут вообще говорилось?! "Можно мне задать вопрос Льву Исаакови-

чу?” — спросил я доктора Эйтингона. “Ах, какой храбрый”, — ужаснулась Надежда Васильевна.

Мой вопрос состоял в том, правильно ли мое впечатление, что Лев Шестов как бы на стороне и заодно с насмешницей, простодушной пастушкой и против мудрствующего, заглядывающего на звезды чудака Фалеса? Однако если предпочесть здравый смысл метафизическому умозрению, то надо вспомнить и то, что “смеется тот, кто смеется последним”. И разве отзвук смеха эллинской девушки дошел бы до нас и до Льва Исааковича, если бы ее смех был “последним”, если бы за ним не последовала эллинская философия, ведущая свою родословную от Фалеса из Милета? А как это случилось? Погруженный в думы о единой сущности всех вещей, об их *αρχη*, Фалес споткнулся, упал в воду и, не отвлекаясь даже в столь жалком положении от своей высокой мысли, тут же открыл, что вода и есть та искомая первоначальная, изначальная сущность. Кто знает, не разразился ли он сам, на дне своего колодца, радостным смехом по поводу своей неожиданной находки? Как бы там ни было, находка его стала первым звеном дальнейшей цепи подобных же догадок о единстве всего сущего, и смешное, на первый взгляд, приключение его, быть может, указывает на то, что если у человечества в целом нет счастья в поисках философской истины, то помогают ему несчастья отдельных рассеянных философов. Над кем же мы смеемся?

Мой “вопрос” вызвал крупнейшее недоразумение. Лев Исаакович подумал, что я издеваюсь, что я сам смеюсь над ним, тем более, что публика, в большинстве своем, сочувствовала явно мне, и даже Плевицкая громко сказала: “Ишь ты, такой молодой, а как он это ловко повернул!” (Было же мне тогда не под двадцать, как в свое время в Гейдельберге, а под сорок). Льву Исааковичу показалось, что я ни с того, ни с сего стал ему врагом, что я мщу ему за что-то. На вопрос мой он ответил, но как!.. С дрожью в голосе Шестов сказал, что я, очевидно, не понял его мысли и отождествил его с расхохотавшейся молодой девушкой. “Что же? Это даже лестно, — пошутил он с кривой усмешкой, — но, к сожалению, это ни на чем не основано”. Шестов против Фалеса и его находки, но вовсе не за беспечное веселье или за безответственное остроумие, “чему мы все тут были свидетелями”. Одним словом, мне досталось... Но я был рад этому, потому что теперь-то я смогу, наконец, выго-

вориться. "Могу я вас завтра повидать, как было условлено?" — спросил я его. Он пожал плечами: "Ну да, конечно, как было условлено". Так началась третья фаза в наших отношениях с Шестовым, которая продолжается и по сей день, несмотря на то, что Шестов давно скончался. Первая — начавшаяся в Гейдельберге, закончилась в Берлине. Вторая — берлинская фаза.

Я пришел в виллу Эйтингона на Hitzigstrasse, как было накануне условлено. "Фригийское недоразумение", как стал я называть вчерашнее происшествие уже в тот же вечер в разговоре с Плевицкой, надо было во что бы то ни стало вырвать с корнем. "И за что вы так обидели нашего высокоуважаемого Льва Абрамовича?" — допрашивала меня Плевицкая уже у самого крыльца эйтингоновской виллы. Но, конечно, ничего подобного не было. Было искажение истины наподобие того, как искажалось имя и отчество Льва Исааковича в небрежном жонглировании им нашей избалованной певицей. Однако впечатление было создано, и, значит, надо было за это отвечать!

"Лев Исаакович, — начал я, как только нам подали чай в его комнату на следующий день, — я чувствую себя виноватым, но не совсем...". — "Ах, бросьте, не стоит! Вижу, что недоразумение". — "Нет, Лев Исаакович, не совсем", — и я стал объясняться. Я объяснил ему, какую эволюцию я проделал в течение двадцати лет нашего знакомства и в моем отношении к философии вообще, и к мыслителю Льву Шестову в частности. Охваченный горячим желанием прорваться сквозь все преграды, стоящие между человеком и человеком, и выражая тем самым свое исключительное доверие к проницательности Льва Исааковича, я, не щадя ни себя, ни его, начертил перед ним сложную кривую моих оценок и переоценок, повернувшую резко вниз именно вчера, когда "царица" славянского хора поклонилась ему в пояс. Я пояснил, что именно она отождествилась в моем восприятии с "фригийской красоткой", высмеивающей поиски начал и концов, а барахтающимся в цистерне мудрецом оказался он сам — Лев Шестов, — предпочитающий хоровой смех, посмешище на миру, всемирному безмолвию и остракизму. "Так вот и выходит, что вы, Лев Исаакович, смеетесь публично над самим собой, и мне захотелось, страстно захотелось, простите дерзновенную мысль, защитить Льва Шестова от самого себя!"

Лев Шестов сразу присоединился ко мне или, точнее, сра-

зу присоединил меня к себе. Покуда я "обличал" его, он с некоторым беспокойством присматривался ко мне, т.е. к ходу моей мысли. Но когда я поставил непритязательную, спокойную точку, он собрал свои длинные пальцы в две чаши весов и, поводя то одной, то другой рукой сверху вниз и снизу вверх, решительно нагнулся в мою сторону: "Простите, обо мне — это неважно, но вы делаете большую ошибку, очень большую ошибку... Слишком долго взвешиваете, добиваетесь наивысшей точности, а это как раз то, что никогда в точку не попадает. Надо как-то иначе, скажем, как древние пророки Израиля или, если хотите, как мой покойный отец. Люди как люди, со всеми своими человеческими слабостями, с обыденными интересами, материальными, профессиональными, одним словом — примитивными, первоначальными, — и вдруг грянет слово, как гром, мысль сверкнет, как молния... Как у Пушкина: "Глаголом жечь сердца людей". А это ведь неважно: Плевицкая ли, Шаляпин, собственная ли моя сестра..."

Я насторожился и стал напряженно вслушиваться. Неужели, как уже не раз случалось, я услышу не только одну, но и другую сторону семейных недоразумений? Лев Исаакович заметил, покосился на меня из глубины своего кресла и продолжал: "По-вашему, жажда признания — чувство низменное, истина моя сама за себя постоит! А мой жизненный опыт, да и всеобщий, учит, что истина есть самое хрупкое создание на нашей планете. Того и гляди — разлетится на мелкие осколки. Значит, надо за нее заступаться, даже если это и унизительно... Да, в одном вы правы, писательство — промысел низкий, но когда оно служит истине, стоит и с толпой смешаться. А вы вот все гейдельбергской точности добиваетесь... Вычисление бесконечно малых... Категорический императив... Чтобы ризы без единого пятнышка! Я ведь вас помню молодым студентом — каким были, таким и остались. Это у вас прирожденный ритуализм — кошерная пища: чтобы мясо было обескровлено и посолено, и чтобы, не дай Бог, не попала в мясной суп капля молока... Как хотите, но будь вы моим сыном (а ведь по возрасту могли бы быть!), я бы столкнул вас со стези праведной. Но что говорить! Теперь уж, вероятно, поздно, да и я сам уже не советник самому себе. Вот, к примеру, Палестина..."

Чуть ли не четыре десятилетия прошли с того дня "чашки чая" — чашки, так сказать, мира и понимания между нами, но и

теперь, каждый раз, когда внимание мое обращается туда, в ту комнату с раскрытым окном в пустующий сад, я ясно вижу в зеркале оконного стекла округленные серо-синие глаза Льва Исааковича, с их устремленным на меня ласковым, приглядывающимся взглядом: "Да, Палестина... Вот посоветуйте, ехать или не ехать? Меня усиленно приглашают — лекционное турне и тому подобное. Гонорар совсем незначительный, да еще предупреждают, чтобы я запасся собственным костюмом для официальных приемов. Для меня просто лишний расход. Вы на моем месте, пожалуй, дали бы телеграмму, что за неимением смокинга не смогу приехать, а? А я вот, не знаю".

Лицо его стало серьезным, озабоченным. Я воспользовался стечением обстоятельств, чтобы высказаться до конца. В неосознанном стремлении подвести общий итог всего, чем был и стал для меня в течение двадцати лет Шестов, я сжал свой "совет" в формулы, извлеченные из шестовской же алгебры. Наконец-то я как будто постиг ее и уже не сомневался, что и я, в свою очередь, не буду понят превратно. И мне, и Льву Исааковичу было не до шуток. "Палестина для вас, как и для меня, — начал я слегка волнуясь, — Святая Земля". Он утвердительно кивнул головой. "Двадцать лет тому назад, — продолжал я, — вы чувствовали иначе. Тогда вам казалось, что, почитая домашних пенатов, вы заслужили право не считаться с назойливыми превратностями народной судьбы". Лев Исаакович никак не отозвался, лишь несколько брезгливо повел плечом. Я разошелся: "Вы добивались славы, сначала всероссийской, а затем и всемирной, под псевдонимом". — "Говорите, говорите", — торопил меня, приподняв плечи, Лев Исаакович. "Но псевдоним — есть, простите, синоним, — вставил я торопясь, — синоним предательства собственного имени. Вы за ценой не стояли и прославились даже здесь в Германии, став твердою ногою около Гете и Шиллера в веймарском архиве имени Ницше. И все это, скрывая иудея под покровом эллина".

"Ну, это положим... — прервал меня Лев Исаакович, и на коричневом от загара лице его появились багровые пятна, — всем было известно, что я..." — "Нет, нет, — не дал я ему договорить, — очень немногим. И чем больше ширилась слава Шестова, тем меньше становилось тех, для которых еврейское происхождение Льва Шестова не было секретом. Правда, эти посвященные были людьми большей частью недюжинными. Знал

об этом Максим Горький, а от него Лев Толстой. Знал Бердяев, Брюсов, Иванов-Разумник, знали Мережковские, Ольга Форш, Алексей Ремизов. Но ведь они-то и разоблачали вас, Фросте, в собственном вашем сознании. Иудей! Иудей! — твердили они все как бы хором. Уважение к вам, а у многих из них и любовь от этого ничуть не убавлялись. А у кое-кого, у Бердяева, например, даже наоборот. Но для всех них присутствие "Черного человека" (Шварцмана) в Льве Шестове имело решающее значение в оценке вашего, Лев Исаакович, мировоззрения. Вот только Александр Блок, в разговоре со мною с глазу на глаз, огульно осуждая евреев в русской литературе, мимоходом задал мне недоброжелательный вопрос о вас лично, в связи с вашим литературным псевдонимом:

— И почему они все стесняются и скрывают свое еврейство? Почему, например, Шестов, а не Шварцман?

А когда я в его же тоне спросил, почему же Горький, а не Пешков, или Белый, а не Бугаев, Блок покачал головой:

— Ну это совсем другое. Нечто похожее на Жорж Занд!"

Лев Исаакович в недоумении поднял оба плеча сразу, приподнял локти над ручками кресла и воскликнул с огорчением: "Ах, эти романтики, от их надзвездного эфира водкой пахнет. И притом какие нежности — Жорж Занд! Женщине можно, а еврею нельзя! Нет, так мы никогда не доедем до Палестины". — "Наоборот, именно так непременно и доедем! — сказал я твердо. — Дело не в Блоке и не в Бердяеве, а в том, что воображаемая парабола ваших странствий смыкается в замкнутый эллипс. Вы пустились в путь, чтобы не возвращаться, но путь ваш был предначертан, и вы чувствуете себя обманутым. После вашего путешествия в Иерусалим он станет вам столь же родным, как и Рим, и Афины. Эту нашу беседу я непременно хочу записать в назидание потомству, но опубликована она будет только после смерти, моей, разумеется. Потому-то я и разговариваю с вами так смело, даже, может быть, дерзко. В загробном мире все возрасты равнозначны. И я уверен, что вы на меня не сердитесь".

"Что вы, что вы!" — чуть ли не вскипел Лев Исаакович, перегнувшись через чайный стол в мою сторону, схватил меня за плечо и сжал его с такой силой, что мне показалось, что что-то хрустнуло слегка.

Постучали в дверь. Горничная должна была доложить хо-

зайке, останется ли гость к обеду. "Найн, найн, — как-то засуетился, не совсем справляясь с немецким языком, Шестов, — вир бальд цу-ендэ" (скоро, мол, кончим). "Ихь аух шпетер комэ". Ему действительно хотелось выговориться до конца. Я замолчал.

"Поймите... Между прочим, я отказался за вас от обеда, чтобы все это не закончилось опять новым скетчем из театра миниатюр, хотя Надя Эйтингон могла бы дать вам и то, что вам можно есть. Ох уж эти мне специалисты по психоанализу! Помните, Смердяков у Достоевского говорит, что про неправду все написано... Даже сестра моя всегда требовала от меня, чтобы я разанализировался, разоблачился. Наверное, и вам успела сказать. Они все от меня ждут, чтобы я совершил нечто сверхчеловеческое. Сестре, например, хочется, чтобы я превзошел самого Зигмунда Фрейда, чтобы я сманил Господа Бога на нашу грешную землю. А я вот ни за что не хотел кончить, как Ницше, т.е. провозгласить себя "распятым" и засесть в доме для умалишенных. Да! Я против преклонения перед общей меркой и здравым смыслом, но во имя чего-то более глубокого, широкого и высокого, во имя, как говорится, Истины с большой буквы. Если удастся дожить, поставлю все точки над "і", и прежде всего над прописным "И", иже есть от Иерусалима... Так значит, по-вашему — ехать?" — "Конечно, ехать, во всяком случае, это вашему доброму имени не только не повредит, но со временем придаст ему больше весу. Лет десять тому назад я позволил себе сказать нечто подобное Акиму Львовичу Волинскому, настоящая фамилия которого, как вы знаете, Флексер. (Кстати, ему-то больше, чем кому бы то ни было, Блок не мог простить "княжеского" псевдонима)".

"Разумеется, — лукаво усмехнувшись, обронил сквозь зубы Лев Исаакович, — очень полезно иметь плацкарту на место в поезде дальнего, очень дальнего следования. Но это, между прочим, не столько против "циника" и крипто-иудея Волинского, сколько за "юдофоба" Блока. Это, конечно, тема особая и, может быть, еще удастся как-нибудь отдать отчет и об этом. Сейчас же мне надо спуститься к обеду, а у меня еще остался интересный ребус для вас".

Я встал, встал и Лев Исаакович. "Скажите, сколько я ни боюсь, я никак не могу найти объяснения для вашего псевдонима". — "А, — воскликнул, неожиданно подмигнув, Лев Исаа-

кович, — и не пытайтесь. Еще никому не удалось. А это — суффикс... С примесью каббалы... Знаете, юнош-еств-о, излиш-еств-о, монаш-еств-о, патриарш-еств-о, торгаш-еств-о и т.д. Представьте себе, что я выдумал это, когда еще был в гимназии. Как все тогда, я ненавидел "торгашество" (отец, знаете, был крупный торговец — торгаш). Если стану писателем, а я непременно хотел прославиться как писатель, я отделаюсь, решил я, от отцовской фамилии и оставлю в своем псевдониме одну лишь начальную букву "Ш". От отцовского же рода занятий отрублю голову — "торг", и останется одно свободное "шество", сродни шествию; шествовать, к тому же, в общем-то в обратном от отцовского направлении. И получите что? Шестов, если переставите две последние буквы!" Мы оба рассмеялись, как ученики младших классов, а я невольно подумал: "Неужели и теперь все это одни лишь словесная доука и балагурство? Ребусы на каламбурах?" "Действительно, каббалистика", — сказал я вслух. "Погодите, — остановил меня Шестов, — каббала в моем двусложном псевдониме открылась мне значительно позже. Намекну на прощание: мой псевдоним как трехцветный флаг. Три языка в одном слове Ш-ест-ов. "Ш" — заглавная буква немецкого Шварцмана (черного человека). "Ест" — est — есть. А "ов" — кому как не вам лучше знать — древнееврейский патриарх, родоначальник. А шарада в целом: "Ш", т.е. Шварцман Второй, есть Патриарх!" — "Позвольте, — вскочил я в изумлении, — так ведь это слово в слово то, что сестра ваша мне наговорила о вас. Вы вздумали занять место отца, чтобы стать родоначальником, а вся ваша литературная работа под знаменем Шестова раскрыла перед вами ваше истинное призвание. Не так ли? Лев Исаакович, так значит, все они, на самом деле, правы, и Бердяев, и Разумник, и даже Блок".

"Об этом надо будет еще поговорить, — сказал Лев Исаакович, положив крепко руку мне на плечо, — сейчас я хочу только, чтобы до поры до времени шарада эта оставалась под замком. Пообещайте мне (он протянул мне руку, которую я крепко пожал), что никому не расскажете. После моей смерти пусть говорят и пишут, кому что угодно. Но ни за что не хочу прослыть сумасшедшим при жизни".

Это была моя последняя беседа с Шестовым с глазу на глаз.

В середине 1953-его года я оказался в Монтевидео. В гос-

тиницу ко мне неожиданно зашел давно переселившийся в столицу Уругвая соотечественник и, пристально глядя в меня, огорошил вопросом: "Вы лично встречали Шестова?!" Неправильное ударение на первом слоге фамилии помешало мне сначала сообразить, о ком шла речь, но посетитель мой тут же пояснил: "Ну, Лев Шестов! Великий русско-еврейский мыслитель. Верно это? Вам суждено было знать его лично?!" Не могло больше оставаться сомнений, что речь шла о Льве Исааковиче, и что передо мной его, заброшенный в эту дикую даль, поклонник. Поклонник, — как скоро оказалось, — в самом буквальном смысле этого слова. Он не преклонялся перед покойным Шестовым, а просто поклонялся духу его так, как поклонялись древние греки античным божествам своим. Из книги Я. Бромберга "Россия и евреи", попавшей ему в руки случайно, он узнал о литературной связи между Шестовым и мною, и с появлением моим в Монтевидео осуществилась его давнишняя мечта увидеть воочию кого-либо из сподобившихся приобщиться к земному лику отошедшего Учителя. Вспоминая свой первый и последующие разговоры с уругвайским "апостолом" Льва Шестова, я не могу не воспроизвести дословно его странный способ выражаться. Я столкнулся с настоящим богословием, подражательным, но все же внушенным традиционными еврейскими и христианскими первоисточниками. Все писания Шестова стали для этого человека Писанием с прописной буквы и, в некотором смысле, даже Священным Писанием. Но в чем же дело? Почему? Помешавшийся? А хоть бы и так. Значит, не столь уж опрометчиво судила сестра Льва Исааковича, когда видела в нем задатки родоначальника возрожденной веры. Да и сам он разве не считал себя "патриархом" нового рода? Мне очень хотелось нащупать, в чем же именно открыл апостол Шестова его сокровенную правду. И когда апостольское доверие укрепилось, я поставил этот свой вопрос ребром.

"Как?! — удивился апостол. — Неужели, соприкасаясь с живым Шестовым, вам не бросилось в глаза самое главное! Шестову было дано откровение, что нет малых и великих людей, что перед ликом Господним все равны. Моисей этому учил. Иисус из Назарета воскресил это учение. Но только Шестов по-настоящему показал в наше извращенное время, что это значит, назло Спинозе, Марксу и Фрейду... Хотите прийти к нам на заседание кружка и услышать, как мы толкуем? У нас

все по-испански, но если захотите, мы переведем. Имейте только в виду, что общество наше, пока не наступили времена и сроки, — тайное и закрытое. Мы ни за что не хотим погубить великое дело Учителя, объединение всего рода человеческого под знаком Боготворчества! не дай Господь! Ведь так легко это сделать. Мы не хотим прослыть сумасшедшими от рождения”.

“Не хотим прослыть сумасшедшими”, — слова эти врезались в сознание, как раскаленная игла. Где я их уже слышал? Ну, конечно! От самого Льва Исааковича в Берлине в двусторонней исповеди после случая с фригийской пастушкой. Как поразительно! Вместе с писаниями Шестова распространяются в мире его затаенные страхи и посягновения. Наперекор своему противоборству, одиночка — ни эллин, ни иудей, — становится где-то, за тридевять земель от родного своего Киева, основоположником какой-то новой русско-еврейской секты. Поистине, чудеса! Весь земной путь Шестова простирался как бы по наперед продуманному расписанию, и само расписание это стало одной из страничек объемистого путеводителя для трех или даже четырех поколений моих современников.

Естественно, что в таком настроении я предпочел не вводить “учеников” Шестова в соблазны, не говорить им о нем, как об одном из весьма своеобразных и замечательных, но все же типичных явлений нашего духовного безвременья и вообще не вмешиваться не в свое дело. Я уже знал, что Шестов более значителен как писатель и стилист, чем как мыслитель, и больше выдающийся человек, нежели стилист и писатель. Другая встреча, еще десять лет спустя, с представителем младшего поколения шестовианцев окончательно утвердила меня в итоге моих итогов.

Эта, другая, встреча состоялась в предгорье швейцарских Альп. Близким моим соседом по гостинице был молодой бельгиец с приятной улыбкой и несколько водянистыми глазами, которые он и за завтраком не спускал со страниц какого-то толстого тома. “Сосватал” нас Достоевский. Мой сосед заметил, что я в читальном зале погрузился в газетный обзор советской литературы о Карамазовых. Газета была немецкая. “Простите, — обратился ко мне молодой человек по-немецки, — можно вас попросить передать мне сегодняшний номер, когда вы его закончите читать. Я не успел дочитать статью о Достоевском”. — “А вы им интересуетесь?” — невольно спросил я его. “Не До-

стоевским специально, но русской литературой вообще". Так сосед стал моим собеседником. В тот же вечер, коснувшись в беседе того и другого, я спросил его, как уже не раз спрашивал и соотечественников и иностранцев, кому он отдает предпочтение, Толстому или Достоевскому. Ответ его не мог не озадачить меня: "Из русских писателей я предпочитаю всем другим Леона Шестова. Я даже стал учить русский язык, чтобы читать его в оригинале".

Мой новый друг рад был меня поучать, а я в течение недели часами внимал ему. Когда он разгорался, в глазах его появлялся влажный блеск, и казалось, что вот-вот они нальются слезами: "Да поймите же, — чуть не кричал он в парке перед гостиницей, — мы, молодые, не можем простить вам, пережившим наяву все, что случилось, не можем примириться с тем, что вы все такие сонные, заспанные, не проснувшиеся, как будто вам все нипочем! Все мы мечемся, ищем, спотыкаемся, авось набредем. Мне всего двадцать шесть, но как много я уже успел испробовать. Церковь — это с детства, потом социализм, даже коммунизм, и психоанализ, и антропософия, и морфинизм, и любовь между людьми одного и того же пола, и уголовщина, и покушение на свою жизнь, и... да что говорить! Один Бог ведает, что было бы еще, если бы не Шестов!"

Я вздрогнул и стал слушать с напряженным вниманием. Совсем как у Разумника Васильевича: спящие и бодрствующие. Неужели драматический смысл встречи с Шестовым сейчас разъяснится в неожиданной развязке?

"Да поймите же, — снова заговорил после минутного молчания мой молодой друг, — если бы я не считал богохульством выражаться по-церковному, я бы сказал, что Леон Шестов — мой Спаситель!"

"Что это значит?" — прервал я его, чтобы наскоро противопоставить этого мученика-одиночку, жизнерадостным "сектантам" из Уругвая. "Очень просто. Мне случайно попала в руки книга неизвестного мне автора, Леона Шестова, с год тому назад. В это время я страшно себя ненавидел и страшно презирал людей вообще. Я раскрыл книгу наугад. Бросились в глаза имена Достоевского, Ницше. И произошло нечто совершенно небывалое. Фразы были простые, мысли тоже несложные, все как будто даже скучновато, и вдруг мне захотелось плакать. Стало бесконечно жаль себя и всех людей, и все мироздание, и

я вдруг понял, что нельзя никого осуждать, даже самого себя, как бы я ни был развратен и виноват. Этого, конечно, не было в тексте, но как-то исходило из него, как заклинание между строками. Я слышал голос наяву, доносившийся со страниц книги: а ты проснись, а ты не спи, а ты и во сне бодрствуй!.. Я не мог удержаться и расплакался. С тех пор я с Шестовым. И я могу жить, и могу верить, и могу надеяться... Вот только любить я еще не могу. Но с Шестовым и этому научусь!"

"Значит, — думал я, сидя в самолете, уносившем меня из Швейцарии, — и это возможно. Шестов — явление безвременья и продукт разложения, но он же и предвестник, и предтеча того, что грядет за веком всечеловеческого кризиса. И идущие на смену нам поколения это чувствуют. Если бы вся его писательская деятельность имела лишь одно это последствие — исцеление одной единственной души, ставшей невинной жертвой всемирного кризиса, — как не признать, что этим одним погашены все недочеты в произведениях и все житейские долги Льва Исааковича. Так, как он пришел с того света на помощь своему правнуку из Бельгии, так мог прийти на помощь лишь сын человеческий, облеченный призванием во Имя!"

Пока я жив, я продолжаю свои беседы с Львом Исааковичем. Содержание их, однако, не задает того основного, на чем зиждется жизнь человеческая. В этом отношении господствует полное согласие. И если бы я был вызван на Страшный суд по делу Льва Шестова и его сочинений, все мои показания были бы в его пользу и против Князя Обвинителя. Не могу судить, пригодится ли мой набросок портрета с натуры для приобщения к "делу", но я писал его, не только подражая живописцам, но и как откровенное послание многолетнему спутнику.

Лондон 1968—69 гг.



Философ и публицист **Аарон Штейнберг** (1891-1975) был свидетелем и участником культурного процесса в России начала XX века. Книга его мемуаров "Русский ренессанс. Друзья моих ранних лет (1911-1928)" в ближайшее время выходит в издательстве "Синтаксис". Подготовка текста, послесловие и комментарии профессора Жоржа Нива.

Марк Харитонов

ОБ ИСКУССТВЕ КАК СПОСОБЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Так я решил в свое время озаглавить вольные литературные заметки разных лет, объединенные только темой, содержание которой в свою очередь выявляется лишь из совокупности разнородных фрагментов.

Впрочем, возможно, правильнее говорить о способе бытия, существования, облагороженного мыслью, воображением, культурой?

В иных случаях точнее говорить также не об искусстве, а о игре, о культуре, о творчестве (которое может быть и научным, и религиозным, и жизненным).

Но условен, в конце концов, всякий термин, его конкретное содержание раскрывается опять же в контексте.

Многие свои мысли я успел со временем раздать своим героям и теперь позволяю себе их заимствовать или, если угодно, вернуть — сохранив художественно-необязательный, подчас двусмысленный способ высказывания, который сродни многозначности.

Об искусстве как способе существования

”Была такая фантастическая идея: если записать все ощущения и переживания человеческой мысли, все электрические импульсы, которые поступают каждую секунду в течение многих лет от нервных окончаний глаз, ушей, кожи, языка и носа, от внутренних органов, от каждой клеточки нашего тела — так вот, если бы записать все эти без исключения токи, колебания или что-то там еще на особую пленку, а потом подключить эту плен-

ку к другому человеку или даже просто к воспроизводящему устройству, то этот человек или устройство, не нуждаясь в собственных органах чувств и ни в малейшем движении, не нуждаясь в собственной жизни, переживет в полном объеме чужую жизнь со всеми ее красками, запахами, событиями, чувствами, с любовью и несчастьями; закрытые глаза, соответствующие клеточки живого или электронного мозга будут воспроизводить увиденные кем-то лица, дома и деревья, закрытые уши — слышать слова и музыку, в мозгу будут шевелиться переданные, вживленные пленкой чужие мысли... Так вот, если б чье-то сознание воспроизвело мир образов и чувств, записанных от меня в часы, когда я пишу — оно пережило бы жизнь яркую, красочную и глубокую, с замиранием сердца и, так сказать, скрежетом зубным, и кто-то подумал бы (если б он сохранил при этом способность оценивать со стороны): да, жил человек..."

Так размышлял герой моих "Записок скучного человека" (1969), предвосхищая мои позднейшие раздумья о искусстве как форме и способе существования.

Речь идет отнюдь не только о творцах; к этой проблематике причастен каждый из нас — ибо кто не склонялся хотя бы над страницами книги?

Красивая девушка в метро усталилась на тонкие пластинки белого вещества, испещренные черными значками. Она не видит, не слышит ничего вокруг — какие картины и голоса переливаются сейчас с этих листов в ее существо через зрачки глаз, прикрытых длинными ресницами? Ведь это поистине волшебство, это чудо, сравнимое разве что с чудом сновидения.

"Мозг мой — вместилище, где все полно цвета, запахов, звуков, где живут и глубоко чувствуют вживленные в меня существа. Вне моей черепной коробки все несравненно тусклее". ("Записки скучного человека").

Искусство подключает нас к богатству и разнообразию жизни, взаправду для нас закрытым; оно позволяет нам если не испытать, то причаститься к чувствам и впечатлениям, которые недоступны нам в нашей заурядной обыденности, преобразить скуку — ту скуку, которая заставляет срывать с места, искать приключений, опасных, а то и гибельных; оно намекает на способ совместить богатство, полноту и глубину впечатлений, переживаний и мыслей с комфортом и безопасностью — то есть решить проблему экзистенциальную, которая от веку мучает человека.

Многие проблемы человеческого бытия связаны с невозможностью совместить "счастье" и полноту (жизненную, духовную). Чрезмерно долгое состояние покоя, безопасности почему-то оказывается невыносимым для человека и человеческих сообществ; существует не вполне объяснимая потребность в напряжении духовном (даже в ощущениях трагических). Возможно, это связано с инстинктом самосохранения человечества как рода (иногда противоречащим инстинкту индивидуального самосохранения) — подобно загадочным самоубийственным миграциям грызунов, слишком расплодившихся на урожайных хлебах. А может, и с каким-то более фундаментальным сопротивлением энтропии (физической и духовной), которая оборачивается вырождением, утратой жизненной энергии.

И если это так, то, удаляясь от животных первооснов бытия, не развивал ли человек искусство еще и как способ компенсировать некую возрастающую недостаточность, обеспечить себе как можно большую полноту и интенсивность чувств — при минимуме реальных губительных опасностей?

Искусство — концентрат жизни, который добавляется в разжиженную кровь нашего повседневного существования, обеспечивая ее недостающими, насущно необходимыми соками.

В наши дни — с тенденцией к усредненности, безликости, комфорту, скуке — оно позволяет обеспечить некоторую полноту чувств, необходимую для выживания и сохранения человеческого рода — без опасности реальных потрясений.

В этом его величие — но в этом и соблазн, который может делать искусство опасным для самих основ жизни. Потому что жизнь не должна останавливаться, она требует движения, обновления, подвига, настоящих страстей и настоящих усилий — иначе грозит все та же энтропия, застой, остывание.

Конечно, нынешних форм искусства недостаточно для полной подмены — лишь самые истовые его служители испытали на себе предельное действие этого соблазна. Но не исключено, что цивилизация предпримет еще попытку продвинуться в этом направлении. Соблазн немалый — обеспечить благополучие без потрясений — но при этом без скуки.

Не такова ли модель "прекрасного нового мира" Хаксли — общество людей, способных чувствовать себя счастливыми при любом уровне и качестве жизни? Наукой там найден способ насыщать и убаготворять человека, поддерживать продолжение его рода вне любовных отношений — главного источника страстей и трагедий; от мыслей же о смерти отвлекать не так уж трудно. Не случайно в этом мире запрещено искусство,

как его понимаем мы. Я не могу найти логического опровержения возможности такой цивилизации.

Условные игры

— Актер Кин! Вы прекрасно показали мне, как умели любить Ричард III и Генрих V. А теперь я хотела бы узнать, как умеет любить актер Кин.

— Прошу простить, Ваше величество, не могу. Я импотент”.

Исторический анекдот

”Решив разубедить сумасшедшего, который уверял, будто он стеклянный, его легонько стукнули палкой. ”Дзинь”, — сказал сумасшедший и умер”.

Современный анекдот

Что может значить для нас крошечный клочок плохой бумаги с тусклым отпечатком? На отпечатке этом нет ни искусного изображения, ни мудрого изречения. Это уникам, редкая почтовая марка, вся ценность ее создана ошибкой гравера — но за этот клочок бумаги отдадут миллионы, за ним охотятся, из-за него идут на преступления и убийства.

Мы даже не отдаем себе отчет в условности многих ценностей, на которых строится наша обыденная жизнь, в условности игр, из которых она составляется. Слишком всерьез оборачиваются они порой для нас. Да и всегда ли можем мы определить, какие ценности условны, искусственно созданы, а какие ”подлинны”, ”первичны”, насущно необходимы?

”Я знаю, что золото, добытое с помощью огня, а не благодаря солнцу — не настоящее”, — говорит в знаменитом разговоре с чертом композитор Адриан Леверкюн, герой манновского романа ”Доктор Фаустус”. — ”Кто это сказал?” — возражает ему собеседник. — ”Разве солнечный огонь лучше кухонного?.. Цветы изо льда или цветы из крахмала, сахара и клетчатки — то и другое природа, и еще неизвестно, за что природу больше хвалить”.

Эта логика типична для декаданса начала века. О. Уайльд, как известно, пошел дальше и провозгласил приоритет ”искусственных произведений” перед природными. Символичен его портрет Дориана Грея, который испытывает воздействие жизни и вбирает в себя живую судьбу вместо реального человека.

С другой стороны, порожденные художником образы воздействуют на нас порой реальней, чем взаправду существующие люди. Разве что "дети от стихов не рождаются" — и то как сказать!

"В одном только искусстве еще бывает, — замечал З.Фрейд, — что томимый желанием человек создает нечто похожее на удовлетворение и что эта игра — благодаря художественной иллюзии будит аффекты, как будто она представляет собой нечто реальное".

Игры воображения способны играть с человеком странные шутки. Медицинский факт: астматик с аллергией на запах розы испытывает приступ удушья при виде бумажного цветка. Настоящее удушье при искусственном цветке — не символ ли это подмены, которая при некоторых условиях может стать опасной?

Профессионалы

Быть может все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов

В. Брюсов

Человеческая жизнь не стоит и одной
строки Бодлера.

Акутагава

Профессионалы-художники порой особенно этим поражают: кажется, что человеческая жизнь для них в самом деле значит меньше произведения. Томас Манн подмечал эту черту и в Гете, который видел "во всем, а главное — во всех сырой материал" для своей работы.

"Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти как высокому предмету для поэзии", — это писал не кто иной как Пушкин (письмо Вяземскому 24-25.6.1824 г.).

Тут дело отнюдь не в человеческой холодности и бесчувственности; подлинность горя вовсе не исключена. Казалось бы: если у тебя разрывается сердце, нельзя утешать себя тем, каким эффектным и плодотворным воспоминанием станет это время потом. Нельзя свое горе и горе других обращать в материал для творчества, для воспоминаний. Почему же так часто художнику свойственно это состояние, которое кажется противоестественным? — он наблюдает за смертью возлюбленной, чтобы правильной запечатлеть перемены ее лица.

У поэта умерла жена...
Он ее любил сильнее гонора.

Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.
После похорон пришел домой — до дна
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
"У поэта умерла жена".

В этих насмешливых строках Саши Черного очевидно сомнение: действительно ли "страшна и безумна" была скорбь поэта? Но в том-то и особенность ситуации, что скорбь действительно может быть велика и неподдельна — художнического поведения это не меняет. Художник и собственные муки готов сделать предметом поэзии, а мог бы — сделал бы и собственную смерть. (И делает — для других).

Плакальщицы

Философ М. Мамардашвили вспоминает профессиональных плакальщиц, которые на похоронах доводят присутствующих до состояния, близкого к экстатическому*. "Они — профессионалы и, естественно, не испытывают тех же эмоций, что и близкие умершего, но тем успешнее выполняют форму ритуального плача или пения". Автор высказывает догадку, что такое "притворство" имеет важный смысл: "ведь психические состояния как таковые ("искренние чувства", "горе" и т.п.) не могут сохраниться в одной и той же интенсивности... и служить основанием для явлений памяти, продуктивного переживания, человеческой связи... Всплакнул, а потом рассеялось, забыл. Дело в том, что естественно забыть, а помнить — искусственно. Искусственно в смысле культуры и самих основ нашей сознательной жизни, в данном случае — в смысле необходимости возникновения и существования сильных форм или структур художественного сознания... Специальные продукты искусства — это как бы приставка к нам, через которую мы в себе производим человека".

Иными словами, именно переводя свои чувства в какую-то искусственную, условную форму (да и сам плач — что значит он с точки зрения физиологии?), мы не только делаем эти чувства более человеческими, но и придаем им подлинную силу, интенсивность, закрепляем их формально и позволяем благодаря этому задержаться в памяти.

Сама память в чем-то родственна феномену искусства; и

* "Вопросы литературы", 1976, стр. 77.

то и другое в каком-то смысле — инструмент в руках инстинкта самосохранения. Ибо если бы в памяти закреплялось первичное, физиологическое качество наших переживаний — жизнь стала бы невозможной.

Когда читателя не тошнит

Один мой персонаж, литературовед, мог за едой читать медицинскую статью о глистах, и это не портило ему аппетита.

Такое чтение предполагает изрядную степень абстрагирования от предмета. В современной литературе многое рассчитано на интеллектуально-отстраненное восприятие, и даже если на шок, то интеллектуальный, а не на реальное сопереживание, сочувствие, тошноту.

Так воспринимается черный юмор.

Человек несет ребенка по лестнице за ножки, головка стучается о ступени.

— Что ты, ирод, делаешь? — кричит жена. — Шапочку потеряешь!

— Не бойся, — успокаивает он, — я ее гвоздем прибил.

Или стишки вроде такого:

Голые бабы по небу летят —
В баню попал реактивный снаряд.

Вам не страшно, читатель? Нет, разве что слегка передергивает, но как-то даже приятно.

Не здесь ли одна из причин тяги вполне благопристойных людей к блатным песенкам? Никто не видит и не воображает за их строками реальных драк, блатных жлобов, убийц, алкашей, крови, блевотины — так, щекочущие слова и приятный мотивчик. Но при этом все-таки и некоторое приобщение к миру чуждому, недоступному, опасному. Вроде побывал среди них и благополучно вернулся.

Криста Вольф в "Кассандре" попробовала показать реально, во плоти, что стоит за гомеровским гневом Ахилла, Пелеева сына. И увидела жестокого "скотину"-солдата, который гоняет вдоль городских стен свои жертвы, спорит из-за наложниц, убивает...

Но значит ли это, что именно такова правда жизни? Или есть своя правда и в гекзаметрах Гомера, сотворившего и путившего в мир своих героев? Мы воспринимаем реальную жизнь отчасти такой, какой нам представил ее Гомер и вся многовековая литература, все разнообразное искусство, вплоть до пошлых и лживых блатных поделок.

И это тоже способ существования.

Химеры

Химеры существовали на самом деле. Мы все видели этих тварей, составленных из разных частей, видели их печальные рожи, подпертые лапами, их зубастые пасти, их человеческие глаза и доисторические хвосты. Они для нас не менее реальны, чем диплодоки и птеродактили.

А можно ли усомниться в реальности Дон Кихота или Гамлета, принца датского? В реальности Персея, Ликурга, Кришны? Мы знаем о них больше, чем о наших знакомых и соседях по улице: знаем их жизнь, их мысли, их внешность — до мелочей.

Сократ, Христос (не говоря уже о Дон Жуане или Фаусте) — для нас художественные образы, отличные от реально существующих прототипов. Но они существуют куда реальнее их: до деталей портрета, характера; мы говорим о человеке Сократе, имея в виду, в сущности, его образ.

Странно, если бы выяснилось, что Христос-человек на самом деле все-таки не существовал — столько талантливых рассказчиков, портретистов и толкователей сделали реально осязательным каждый его жест, ход его мыслей, каждое слово, черту, движение. Туринская плащаница ничего существенного не добавляет.

Монолог незнакомца*

...”Всерьез”, ”взаправду” — надо осмыслить эти слова. Ведь если всерьез вдуматься в это вот волоконец говядины, которое я выковыриваю сейчас из зубов, если вспомнить и вчувствоваться, что я это волоконец знал добрым и нежным теленочком... му-у! в щеку он меня лизал... и прочее... если проникаться такой правдой на каждом шагу — ведь это повеситься. Жить станет нельзя, вы только вообразите! Почему-то нам это заказано. Вот эта денежная бумажка, в которой воплотилось столько труда, надежд, страстей, лет, прожитых и выкинутых в трубу — если эта скомканная условность взаправду попробовала бы все вместить, она бы в пепел обратилась! В пепел! как все мы. Нет, усмехающийся мой друг, с правдой и ложью почему-то не так оно просто. Жизнь зачем-то требует условности, обмана и самообмана, игры, искусства. А там дело за талантом. В пору моей юности я как-то сказал любимой женщине толь-

* Из повести ”Провинциалы” (1977). В повести здесь, впрочем, диалог, но реплики собеседника опущены за необязательностью.

ко отвечай мне прямо, не играй со мной. Какой идиотизм! Какая, в конечном счете, пошлость! Это не так далеко от прямодушия того малого, который попросту заявлял даме: я хочу видеть вас голой. Вот правда так правда. А мы все лжем, мы говорим ей другое. Мы говорим, как прекрасно ее лицо, ее глаза, ее кожа. И она подозревает обман, о! потому что она лучше нас знает, что глаза у нее — ничего особенного, а кожа у подруги нежней. Иные, особо правдивые, даже считают долгом разубеждать: я совсем не такая. Но верят, все же верят именно обману, называют его ослеплением страсти — и оказываются правы. Вот в чем истина, вдумайтесь! Зачем-то жизни нужна эта игра, с распушиванием перьев, уклончивостью, кокетством и танцами, как нужны брачные бои на жизнь и на смерть, как нужны все те же сновидения. Тут великая загадка, не до конца проясненная. Способность к красоте, игре и искусству зачем-то нужна для существования и развития жизни. В этом смысле все люди художники и различаются по силе способности... Я говорю о неизбежном и даже необходимом элементе иллюзии, условности, самообмана, умысла в самой серьезной и подлинной жизни... Какая наша мысль не оборвана? Какие слова вмещают все, что надо бы выразить? Все оформленное, конечное — уже обрублено, отграничено, чтоб им можно было пользоваться. Хоть как-то. Вы назовете это неполной правдой? На том сама жизнь основана, поймите же. Весь мир выделен из хаоса — это и есть акт творения, родственный искусству. Куску хаоса придана форма, видимость закономерности, остальное отсечено и отдано лукавому. Не случайно, уверяю вас! В этом великий смысл. Эта уступка неполноте или, как вам думается, лжи, равносильна красоте и самой жизни. Предельно подлинна лишь бесконечность, бесформенность, бездна, смерть. А нам жить велено.

О стриптизе

"Я хочу, чтоб не лгать... На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы... Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!"

Удивительно глубоко и емко (а потому, что откровенен до конца) формулирует тему этот персонаж "Бобка" — одного из самых жутких рассказов Достоевского. "Жить и не лгать невозможно". Мертвец готов прорваться наконец к самой бесстыдной правде. Живым героям Достоевского это давалось куда как непросто — с надрывом, с оговорками. Его "подпольный человек", самый, пожалуй, откровенный и беспощадный к

себе, заранее одергивает себя устами гипотетического читателя: "В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия: вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок..."

Но разве мы действительно упрекнем за это героя и писателя? Разве мы не хотим от них предельной правды о жизни, о человеке, сколь бы тяжка и даже ужасна она ни была? Разве мы не ждем исповеди откровенной? а неоткровенная — зачем она нам? Разве для подлинно ищущей души такая беспощадная к себе откровенность не может оказаться поддержкой: не ты один бываешь слаб и низок, другим это тоже знакомо — а ведь справлялись?

Всякая культура и всякий ее язык строятся на запретах: это относится и к искусству. В музыке в разные времена запрещались определенные созвучия, они считались неблагозвучными (параллельные квинты, например). Теперь запретов по сути нет, неблагозвучен любой шум. Это относится не только к музыке. Непристойность давно не смущает искусство, слово "дерьмо" незаметно стало литературным даже для девичьего уха. Писатель требует от нас не отворачиваться от пьянчуги, лежащего в луже собственной блевотины и мочи — "в собственном соку", как выражается не без изящества автор. (Врач по профессии, он описывает механику совокупления почти в медицинских терминах и полагает, что правдивый разговор о жизни неполон без подробностей самочувствия человека в нужнике)...

Заголимся и обнажимся... Но для искусства полный отказ от запретов не означает ли растворения в хаосе? Отправление, играющие бесспорную роль в нашей жизни, видимо, все-таки не зря совершаются за закрытой дверью. Каждому известно, что под платьем он гол; но если даже в жару мы не ходим нагишом по улицам, стоит ли упрекать себя в лицемерии? Какой смысл имеет утверждение, что в наготе больше правды, нежели в платье? И описание любви в медицинских терминах — не столько смелость, сколько слабость подлинно художественного мышления, насущно важного для человека.

Вернемся к исповеди. Литература всегда в каком-то смысле исповедь — но именно в каком-то смысле. Одно дело — внимательный, честный взгляд на себя, нужный для самоанализа, самовоспитания (и в целях отчужденного исследования, фрейдистского, например), другое — отчет для других. Одно дело — дневники, писанные для себя и ставшие публичным достоянием помимо авторской воли, другое — публичное самораздевание.

Очевидно, в искусстве оно так же недопустимо, как в жизни. Надо знать себя голого (и по себе других), но для анатомических лекций демонстрируют анонимные препараты.

Как известно, у самого Достоевского нет ни одного в прямом смысле слова исповедального произведения. Откровенничают о своей подноготной всегда лишь его герои. Между тем он и о себе сказал в своих романах больше, чем мог бы сделать это в любой прямой исповеди. Но тщетно будут гадать исследователи, в самом ли деле он совершил ставрогинское преступление. И слава Богу.

Может быть искусство, среди прочего, есть формально дозволенный способ опосредованно узаконить глубинный анализ собственной души (насушной для человека), облагородив истину переносом в сферу не-просто-реальную, в сферу, скрещенную с воображением. Художественное мышление есть способ обойти некоторые запреты, не нарушая самой структуры. Оно перебрасывает мостки через бездны; мостки эти можно назвать условными — но это не делает их ни менее надежными, ни менее нужными.

Лев Толстой или Диалектика лжи

Всякая палка о двух концах.

Основной закон диалектики.

Лев Толстой отвернулся от искусства, ибо стремился быть последовательным в своем неприятии всякой лжи, фальши, условности, будь то историческое лицедейство, будь то условность балета, рифмованной литературы, будь то любовная ложь и лицемерие брака.

Что он готов был оставить? Честный минимум, потребный для поддержания жизни и воспроизведения потомства? Но пожалуй, до конца последовательным был скорее тот несчастный румын (упомянутый в дневнике Софьи Андреевны), который под впечатлением "Крейцеровой сонаты" в 18 лет оскотил себя. Бедняга был ошарашен и разочарован, когда совершив, наконец, паломничество в Ясную Поляну, увидел, что сам его кумир, увы, далек от подобного совершенства.

Художник, то есть по природе артист, человек игры, обречен на внутреннюю противоречивость, когда пытается убежать от "искусственности", условности. Тем более писатель, ибо слово — уже условный знак; "мысль изреченная" в каком-то смысле действительно есть ложь. Ее пытались избежать лаптянские мудрецы, которые носили при себе запас настоящих,

безусловных предметов, чтобы объясниться с их помощью, без посредства слов. Но опять же предельно последовательными дано тут быть лишь удалившимся от мира молчальникам, ибо в пределе отказ от жизненной игры с ее условностями и ложью ради истины и совершенства есть отказ от самой земной жизни...

Здесь завязывается в узел целый комплекс идей, не случайных для Толстого. В своем порыве к совершенству и духовной чистоте он телесен настолько, что плотское соитие кажется ему единственной правдой любви. Здесь пересекается его утопия с надеждами социальных мечтателей отменить все ненужное, избыточное, в том числе деньги и всякую непродуцируемую деятельность, оставив лишь "насущно" необходимое. Здесь истоки его призыва прекратить лживую комедию истории и начать "просто жить"; здесь основа того морального пафоса, который заставлял его видеть в искусстве лишь блажь оторвавшихся от трудовой жизни трутней.

Поэзия выше нравственности

"Или по крайней мере совсем другое дело", — добавил Пушкин.

Аминь. Воистину. Хотя бы потому, что нравственность — уже когда-то выработанный и закрепленный свод правил. Она почтенна, что говорить, ее достаточно для жизни большинства.

Поэзия же — или, шире, искусство — это поиск, путь в неизвестное, творчество еще не бывшего, создание новых духовных миров.

Великих, истинных, профессиональных творцов немного, но искра творчества есть в каждом.

Марина Цветаева задается вопросом, кто угодней Богу — священник, призывающий у Пушкина ("Пир во время чумы") к молчаливому благоговению перед смертью, или поэт, слагающий гимн Чуме — и тем противостоящий ей, противоборствующий (ибо творя, овладевает стихией, придает форму тому, что было просто хаосом, невыразимым — и невыраженным ужасом).

"Быть человеком важнее, — повторяет она. — Врач и священник нужнее поэта... Все важнее нас... Художественное творчество в иных случаях — некая атрофия совести, больше скажу — необходимая атрофия совести".

Спорт

Игра — общий знаменатель жизни, искусства и спорта. Если существует чистое искусство — то это спортивные игры. Аб-

страктность шахматных комбинаций, плетение футбольных кружев — особенно на экране крошечного портативного телевизора, когда не видно лиц, да и почти фигур, следишь за схемой перемещения точек — и это вызывает чувства, это как беспредметная живопись, как чистая поэзия, как легкая музыка, хотя само по себе не выражает ни чувств, ни мыслей — и сто тысяч зрителей режут от восторга.

Спортивные страсти, миллионы футбольных, хоккейных, бейсбольных болельщиков — феномен особый в истории человечества. (Бои гладиаторов, корриды, турниры — вообще принципиально другое дело, там лилась настоящая кровь). Тут поражает абстрактность страстей. Я помню трансляцию футбольного чемпионата мира из Аргентины. Люди на трибунах казались обезумевшими — потом, после победы, они будут всю ночь орать по улицам, гудеть в автомобильные гудки, целоваться, плясать и чувствовать себя счастливыми — что им безработица, нищета, терроризм, диктатура, пытки арестованных, все, что творится тут же, рядом — если одиннадцать молодых парней, их соотечественников, перекидывая кожаный шар, сумели загнать его в сетку между стоек?

Возможно удовольствие еще более абстрактное: следить по газетам, например, за шахматным или футбольным турниром, не видя ни одной партии, ни одного матча. Увлечь может сама драма, динамика турнирной таблицы: кто возвысился и за счет чего, кто потерпел сенсационное поражение из-за просмотра, из-за невезения — оценку дает комментатор, и этого довольно.

И когда комментатор хвалит игрока за то, что он действует без внешних эффектов, мы вместе с ним подразумеваем, что главное в игре все-таки результат (как будто он совпадает с некой истиной). Нам не нужна уже сама плоть игры, само зрелище. Условность доходит до крайности — и мы замечаем, наконец, какую-то подмену, извращение.

На темы Томаса Манна

1. Иосиф и Иов

Проблема "жизни" и "игры", тема человека-художника, "артистического бытия" ("artistischen Daseins") для Томаса Манна столь важна, что исследователи задавались вопросом, не рассматривает ли он это понятие как "парадигму человеческого существования вообще".

С этим связан, в частности, мотив "формального", пред-

ставительского существования, характерный для ранних произведений Т.Манна. Мотив этот отчасти автобиографический, писателю знакомо было сомнение: не ведешь ли ты "авантюристическую игру с действительностью, которую, в сущности, игнорируешь, потому что она для тебя лишь повод для игры, не больше"?

Слово "авантюристический" заставляет вспомнить одного из манновских героев, профессионального авантюриста Феликса Круля — тоже в своем роде художника, только сочиняет он не литературный опус, а собственную жизнь (разумеется, по пути вовлекая в свою "игру" и всех встречаемых). Случай Круля сравнительно легко поддается оценке: недозволенность подобной "игры" утверждается хотя бы уголовным кодексом. Далеко не всегда дело обстоит так просто.

Кто поистине играет в жизни, играет с незаурядной широтой и вкусом — так это Иосиф из библейской тетралогии Манна. Глубоко усвоив культурно-мифологический репертуар своей уже достаточно изощренной эпохи, он "проверял и реализовал свою жизнь, соотнося ее с высшими образцами, разыгрывая ее, как роль, "по правилам" — "ибо мы идем по стопам предшественников, и вся жизнь состоит в заполнении действительностью мифологических форм".

Эта способность определяет поиски Иосифом "высшего в себе" — и в то же время сообщает его жизни оттенок некой вторичности. Он в какой-то мере всегда облегал свои бедствия, воспринимая их чуть отстраненно, как закономерный, эстетически достойный даже любования эпизод обширной драмы, об исходе которой он, в общем, подозревал. "Ибо играть сын Иакова и его праведной не переставал никогда в жизни и двадцатилетним мужчиной играл так же, как неразумным мальчиком. А самой его любимой и самой приятной формой игры был намек, и когда его жизнь, за которой так внимательно наблюдали, оказывалась богата намеками, когда обстоятельства оказывались достаточно прозрачны, чтобы разглядеть высшую их закономерность, он бывал уже счастлив, потому что прозрачные обстоятельства не могут ведь быть вовсе уж мрачными".

Примечателен ответ Иосифа отцу, который однажды мысленно отождествил себя с Авраамом, приносящим в жертву сына — и ужаснулся. С улыбкой знатока преданий юноша успокаивает отца: "Ведь в ближайшее же мгновение раздался бы голос и воззвал бы к тебе "Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего!", и ты бы увидел овна в чаше... Таково уж преимущество позднего времени, что мы уже знаем круги, по которым движется мир, знаем обоснованные отцами

истории, в которых он предстает. Ты мог вполне положиться на голос и на овна”.

— Речь твоя хитроумна, но неверна, — отвечал старик... — Посуди, чего стоила бы моя твердость перед господом, если бы источником ее был расчет на ангела и на овна?”

Ответ очень важный. Представим себе, в самом деле, что библейский Иов знал бы, какую игру с его участием ведет Бог в пику своему оппоненту (а ведь там шел действительно “розыгрыш” по определенному сценарию) — другая цена была бы и страданиям его, и стойкости. Но для манновского героя такое знание имело основополагающий смысл. Низвергнутый в беду неистовством влюбленной женщины, он вновь с надеждой напоминает себе о спасении мифологических героев, с которыми себя отождествлял. “Его надежда была уверенностью, знанием... Он знал свои слезы. Ими плакал Гильгамеш, когда пренебрег желанием Иштар, и та уготовила ему плач”.

Это знание было опорой, оно сохранило его и довело невредимым до финального торжества, в котором Иосиф видит лишь подтверждение своих давнишних снов, завершение непререкаемого мифического цикла. Герой Т.Манна следует сквозь мифическую драму целеустремленно, отстраняя все лишнее, опасное — будь то даже любовь несчастной женщины. Это пушкинский Дон-Жуан соглашался погибнуть ради любви. Иосиф, человек отнюдь не бесчувственный (тогда бы все прошло!), руководствуется, однако, не чувствами, даже не страхом. Он прежде всего блюдет свою роль в обусловленном сценарии, где ощущает себя не только исполнителем, но порой и режиссером. (Именно как режиссер он обставляет знаменитую сцену “узнавания” с братьями.) Он изрядный эстет, этот обаятельный, талантливый, но вызывающий порой какую-то внутреннюю оговорку герой.

”Ведь в конце концов самое главное, чтобы человек развлекался, а не проживал свою жизнь, как слепая скотина, и все дело в уровне его развлечения”, — растолковывает он своему неинтеллигентному стражу по пути в нильское узилище... И все та же оговорка в отношении к артистическому красавцу возникает вновь, потому что слишком трогает еще воспоминание о той, которой он был обязан очередным поворотом сцены. При всех симпатиях к Иосифу, при всех благочестивых обоснованиях его целомудрия (которое, что ни говори, спасает ему жизнь) читатель почему-то испытывает больше сочувствия или сострадания не к нему, а к обреченной, обездоленной, грешной, пренебрегшей условиями и правилами игры Мут-эм-знет. (Во всяком случае, думается, это верно для читательниц). Если

имеет смысл противопоставление "настоящей жизни" "игре", то не здесь ли оно: самозаконное, природой данное влечение — и осторожные оговорки цивилизации?

Тут не все так просто. Мут-эм-энет, в своей страсти доходящая до почти безумного исступления, до забвения всех требований разума, морали, каких-либо культурных ограничений (вспомним хотя бы сцену дикого "шаманства" — недозволенной, первобытной попытки несчастной женщины приворожить возлюбленного), становится в конце концов чуть ли не воплощением темного, демонического начала, отмежевываясь от которого, Иосиф сохраняет свое "благочестие" перед Богом — свое достоинство культурного человека. Самоосуществляясь в "священной игре", он помнит об ответственности перед высшим замыслом и обретает свое, особое благословение. "Это благословение редкое, ведь обычно приходится выбирать и нравиться либо Богу, либо людям, а ему дух прелестного посредничества (заметим в скобках, что посредничество для Т. Манна — вообще одна из основных функций художника — М.Х.) даровал способность нравиться и людям и Богу. "Не зазнавайся, дитя мое", — говорит, однако, ему отец... "Ибо это благословение приятное, но не самое высокое и не самое строгое". "Высокое" благословение патриарха неслучайно получает не артистичный Иосиф, а грубый, но неподдельно страстный, без скидок пробивающийся сквозь свою трудную, полную еще не проясненной новизны жизнь Иуда. Это благословение — символ жизненности, плодотворности, открытого будущего, в то время как само существование Иосифа было лишь "игрой и намеком" на благодать. "Спасения ты не несешь, наследие тебе заказано", — шепчет ему на ухо отец, и Иосиф лучше других знает, что это правда.

Но в смысл такого приговора стоит вникнуть поглубже.

2. Игра

Что наша жизнь? Игра.

Из оперы

Когда мы говорим о "настоящей", "первичной", "неигровой" жизни — что мы имеем в виду? Жизнь, не подозревающую ни о замысле, ни о цели? Но совершенно не подозревает об этом разве что животное (и то много ли мы знаем об этом?). Тот же Иов в конце концов вовсе не усомнился ни в существовании "режиссера", ни в конечной мудрости непости-

жимого его замысла – это не лишало подлинности его страдания*. И разве он выл, как зверь, забыв о членораздельной (причем довольно искусной) речи? Забыв о своем месте среди людей и под небесами? Разве он не оформлял свою неподдельную боль по всем правилам скорбного ритуала – с раздиранием одежд и посыпанием главы пеплом? Этот ритуал и многие скорбные речи с большим знанием дела воспроизвел потом манновский Иаков, оплакивая Иосифа. Бывает ли человеческая жизнь вообще свободна от элементов игры, стилизации, искусства (или искусственности)?

Человек всегда принадлежит к определенной культуре и уже в силу этого не может в каком-то смысле не играть. Выделившись из животной среды, он начинает существовать в мире вторичных систем, в мире знаков, символов, правил – в мире той самой ненаследственной информации, которая позволяет ему ориентироваться в сложной жизни общества, составляет ее организующий стержень, хребет, подсказывая модели поведения, обобщая и передавая совокупный опыт от поколения к поколению.

Во времена Иосифа наиболее авторитетные модели были закреплены в мифах, которые так близко помнил симпатичный герой Манна. Но не случайно термин "миф" используется и по отношению к тем повседневным, не всегда осознанным, порой эфемерным моделям, по которым лепится жизнь человека вплоть до наших дней. Речь идет не только о фундаментальных архетипах культуры, но о самых разнообразных проявлениях игры, подражания, стилизации, в том числе и о феномене, который имел в виду, например, Оскар Уайльд, говоря о жизни, подражающей искусству***.

Так, люди в эпоху Возрождения старались стилизовать по античным образцам даже собственную смерть, ритуализировать жизнь, подчинить ее известным правилам и образцам. Причем эти правила-образцы задавались теперь уже не религиозными мифами, вера в которые безусловна, а мифами историко-художественными (или даже просто художественными, потому

* У О. Уайльда множество парадоксов на эту тему, например, такой: "Великий художник изобретает тип, а жизнь старается скопировать его, воспроизвести в популярной форме".

** * Вспоминались стихи поэта И. Габая:

Как легок на Голгофу путь,
Когда уверен, что воскреснешь.

И разве шедший на Голгофу не был исполнен этой веры? Почему же путь его все-таки не был легок? Видно, такая вера, такое знание не избавляют, не должны избавлять от мук – больно все-таки вправду.

что отношение к героям Плутарха или Светония по существу не отличалось от отношения к героям Гомера или Вергилия).

Из более близких по времени можно упомянуть русских символистов, которые, пытаясь найти сплав жизни и творчества, создавали "поэму из своей личности" (выражение В. Ходасевича). "Я уже сделал собственную жизнь искусством (тенденция, проходящая очень ярко через все европейское *декадентство*)", — писал в 1910 году А. Блок. Впоследствии он оценил смешение жизни с искусством как некий духовный грех, провозгласив их *нераздельность* и *неслиянность* (предисловие 1919 г. к поэме "Возмездие").

С развитием средств массовой коммуникации эта проблематика приобрела особое качество. Далекие от доверчивого простодушия людей архаичных эпох, мы, однако, далеко не всегда отдаем себе, скажем, отчет, что говорим или движемся, как влиятельные герои киноэкрана, что равняем свою судьбу по литературным судьбам — и т. д. и т. п. Об этом немало писано, феномен этот непростой и далеко не сводим к издержкам "массовой культуры". "Жизнь по образцам", как бы пародийно она подчас ни проявлялась, имеет не случайный смысл. Даже, казалось бы, самое личное, неподдельное — например, представление о любви — в каждую эпоху, как известно, создается в немалой степени под влиянием читанного, виденного, слышанного на эту тему. Хорошо или плохо, но это уже подчас не меньшая данность, чем сама жизнь. Мы "живем в искусстве", в культуре с такой же безусловностью, с какой живем в искусственных постройках, а не в пещерах, и ходим в одежде, заботясь притом о ее покрое.

Все это так. Но не случайны же и возобновлявшиеся в разные времена — вплоть до наших дней — тенденции искусствовборческие, антикультурные, словно вызванные чувством некой опасности. Сравнительно недавний пример — лозунги парижских бунтарей 1968 г.: "Культура — извращение жизни", "Долой культуру, да здравствует жизнь", "Долой искусство: мы не хотим жрать труп!".

3. Два разговора с чертом

Разговор композитора Адриана Леверкюна с чертом, уже процитированный выше, — ключевая сцена "Доктора Фаустуса". Ее анализировали не раз и с разных сторон, отмечая, конечно, бросающуюся в глаза близость ее другой классической сцене — знаменитому разговору с чертом Ивана Карамазова. Здесь можно выявить немало прямых совпадений — до описа-

ния внешности черта и его манер — как будто один и тот же гость явился дважды, с интервалом в сорок шесть лет к двум разным людям.

Но есть между этими двумя беседами одно принципиальное различие.

К Левверкюну, как и к классическому Фаусту, inferнальный коммивояжер приходит, чтобы заключить сделку. Условия сделки до деталей оговорены. Музыканту обещается творческое вдохновение, гарантия великих успехов. Ему предлагается время, "гениальное время, окрыляющее время... полных двадцать четыре года... Когда они минуют... мы тебя заберем. Взамен мы будем всячески потакать тебе и потрафлять. Ад будет тебе споспешествовать при условии, однако, что ты станешь отказывать всем сущим — всей рати небесной и всем людям... Ты не смеешь любить... Твоя жизнь должна быть холодной".

Как видим, отнюдь не сулитися сплошных удовольствий, напротив, не скрыта и перспектива страданий. "Великое время, сумасшедшее время, совершенно чертовское время, со взлетами и сверхвзлетами, — конечно, и не без жалких падений, даже весьма жалких, это я не только признаю, но и с гордостью подчеркиваю, ибо так уж полагается, такова уж повадка и природа артистов... Это боль, которую с радостью и гордостью приемлешь как плату за чрезмерное блаженство".

Предложене жутковатая, поистине чертовская игра с четкими правилами, с намеченным до финала сюжетом — и Левверкюн ее принимает. Впрочем, выясняется, что он участвовал в ней давно, еще не подозревая об этом, невидимый режиссер отметил его, содействовал благоприятной болезни — музыкант подходил для такой роли по исполнительским данным.

Карамазову черт ничего не предлагает и не подсказывает, он лишь намеком проясняет, верней, подтверждает ему смысл того, что сделал Иван. Сделал сам, на свой страх и риск, не зная темных последствий во всей их полноте. Черт Ивана как бы ловит людей с полчищным на этих темных (в двояком смысле слова: морально-оценочном и познавательном) делах и помыслах. Но выпутываться оставляет самих, без подсказки, гарантии и даже без соблазна. Похоже, он сам не наверняка знает, что будет потом. Его ерническая болтовня насчет загробных мук — скорей уход от ответа на заинтересованный иванов вопрос. Он даже — хотите верьте, хотите нет — не знает, есть ли Бог.

То есть для себя, может, и знает, но с человеком у него об этом разговора быть и не может, поскольку именно в отсутствии гарантий — залог некоей подлинности человеческого существования.

”Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен ”отрицать”, между тем я искренне добр и к отрицанию совсем неспособен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики... Без критики будет одна ”осанна”. Но для жизни мало одной ”осанны”, надо, чтобы ”осанна”-то эта проходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде... Мы эту комедию понимаем... Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное... ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически, ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие, все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато”.

Дело, пожалуй, не просто в скуке; можно предположить, что страдание действительно зачем-то нужно в полноценной жизни (как и элементы лжи); во всяком случае, наиболее убедительная попытка смоделировать мир, исключивший страдания — это страшноватая антиутопия Хаксли. Другое дело, что для человека недопустим такой надзвездный, отстраненный взгляд на мир, он не может навлекать на себя страдания умышленно. Это комедия для нечеловеческих сил, а для человека — жизнь, предъявляющая каждодневные требования к его совести и чувству ответственности. Гость Ивана со скучающей миной лишь констатирует факт, не требуя от русского умника практических выводов.

С Леверкюном у него разговор другой, в этом пункте они без объяснений способны понять друг друга. Видно, какое-то развитие совершилось в известном культурном слое за сорок лет, прошедшие между обеими встречами; созрело, в частности, уже упомянутое явление ”декаданса” — с его ощущением всеосведомленности, пресыщенности культурой и традицией. (Сам композитор читал не только гетевского ”Фауста”, но, возможно, и ”Братьев Карамазовых”. Во всяком случае, Томас Манн, работая над романом, перечитывал Достоевского очень внимательно). Не в пример Ивану, профессиональный художник, живущий почти исключительно искусством, Леверкюн чувствует это остро прежде всего в своей сфере. ”Озарение, экспромт, — похмыкивает вместе с ним черт... — Но мы-то на-тасканы в литературе, мы сразу замечаем, что экспромт не нов, что больно уже он отдает то Римским-Корсаковым, то Брамсом... Если произведение не в ладах с неподдельностью, как же тут работать?” Остается разве что пародия — игра ”с формами, о которых известно, что из них ушла жизнь”, но этот суррогат Леверкюна не устраивает. А к переживанию ”нефиктивному, неигровому” он сам уже неспособен прорваться.

“Чтобы писать хорошо, страдать надо, страдать”, — уверял Достоевский. Леверкюну эти страдания прямо сулятся, и он идет на них сознательно, если не сказать — умышленно. Вот в этой умышленности и есть больше всего сомнительного.

Трагические герои Достоевского не имели гарантий. Напропалую лицедействуя (в самих повадках их есть что-то актерское), они, однако, не знали заранее пьесы, пробивались сквозь нее всяк по-своему, на свой страх и риск, — то есть жили, бесконечно решая “последние вопросы”. Трагическая же, но заведомо обусловленная жизнь Леверкюна с самого начала приобретает оттенок нечестивой игры — не только из-за содержания договора, но из-за самого его факта.

4. Дионис и Апполон.

Есть своя закономерность в том, что принятие Леверкюном дьявольских правил переплетено с отрицанием “игры” и “иллюзии” в их традиционной, узаконенной сфере — сфере собственно искусства. Сомнения в плодотворности и правомерности существования искусства как такового — вообще один из исходных пунктов всего дальнейшего развития композитора, и доводы его заставляют вспомнить другие, сравнительно недавние заявления. “Дозволена ли на нынешней ступени нашего сознания, нашей науки, нашего понимания правды такая игра, — задает себе вопрос герой Т. Манна незадолго до появления на страницах романа черта, — способен ли еще на нее человеческий ум, принимает ли он ее еще всерьез, существует ли еще какая-либо правомерная связь между произведением как таковым, то есть самодовлеющим и гармоническим целым, с одной стороны, и зыбкостью, дисгармонией нашего общественного состояния — с другой, не является ли ныне всякая иллюзия, даже прекраснейшая, особенно прекраснейшая — ложью?” “Уже сегодня совесть искусства восстает против игры и иллюзии, — заявляет далее Леверкюн. — Искусство больше не хочет быть игрой и иллюзией”. “Разрыв между искусством и реальностью... иллюзорный” характер искусства может быть преодолен лишь в той степени, в какой сама реальность приблизится к искусству и оно станет собственной формой реальности... Искусство как форма реальности означает не приукрашивание существующей, но создание новой, противоположной реальности”^{**}.

Я умышленно позволил себе процитировать без переры-

* H. Marcuse. Art as a Form of Reality. New left review, 74, pp. 56, 57.

ва вслед за Леверкюном современного философа, чтобы сделать особенно наглядной неожиданную актуальность художественно исследованной Т.Манном проблематики. Высказывание Г.Маркузе взято из статьи с характерным названием "Искусство как форма реальности", где сомнения манновского героя словно переводятся в план злободневных размышлений об "отчуждении" искусства от реальности нашего "общественного состояния". Провозглашая отказ искусства от "иллюзии", от "музеев и мавзолеев", Маркузе как бы продолжает весьма примечательную переключку.

В конце 60-х годов, по его мысли, молодежное движение дало образцы некоего "living art" — "жизненного искусства", дальнейшее развитие которого, с одной стороны, должно отменить "иллюзорные" формы традиционного, отчужденного искусства, с другой — станет своеобразной формой существования будущего, преобразованного общества. Я считаю, что "жизненное искусство" ("living art"), реализация искусства возможны лишь в качественно отличном обществе..., где разовьются подавленные ныне эстетические возможности людей и вещей, причем под этим подразумеваются не специфические свойства определенных объектов (objet d'art), а форма и способ существования, соответствующие мышлению и чувствованию свободных индивидуумов**.

В майских выступлениях молодежи 1968 года многие увидели путь к преодолению отчуждения и в жизни, и в искусстве — поскольку они осуществлялись именно как спектакль, как некий большой хеппенинг. "Ненависть молодежи прорывалась в смехе и песнях, стирая грани между баррикадой и танцплощадкой, любовной игрой и героизмом", — писал Маркузе в другой работе**.

"Необходимо пересмотреть понятие искусства", — это уже другой влиятельный идеолог направления Микель Дюфрен. "Официальному искусству нужно противопоставить искусство, которое было бы делом жизни, искусство, прославляющее жизнь с ее свободой, силой, неожиданностью, искусство, подобное невинной и дикой игре, как дионисийский танец ребенка. Да, воссоздание: отчужденный человек воссоздает себя. Игра освобождает, крушит гнетущие ценности, смеется над оскопляющей ее идеологией, раскрепощает жизненную энергию. И, главное, она возвращает человеку вкус к удовольствию. Не к тому бескровному утонченному удовольствию, ко-

* Ibidem. p.p. 56, 57.

** H. Marcuse. An Essay on Liberation, pp. 25-26.

торое присуще созерцанию (впрочем, и оно лучше, чем ничего), а удовольствию более дикому и гл'бокому, порой смешанному с тоской, — ведь смерть присутствует в жизни. Если искусство — дело жизни, оно может быть и делом смерти; таким оно было для Ван Гога и для многих других; игра может перерасти в страсть. Здесь действует свобода: хрупкое и яростное наслаждение, в котором желание на мгновение осуществляется.

Но чтобы искусство привело к такому результату, необходимо, чтобы оно переживалось, как игра, то есть бесконечная выдумка**.

Искусствоворческим концепциям новейшего рода присущ эстетизм, парадоксальный разве что на первый взгляд, — он отрицает лишь "устарелые", официально узаконенные формы, произведения, созданные в виде ограниченных в пространстве и времени "опусов". "Опус, время и иллюзия... — они все вместе подлежат критике. Она уже не терпит игры и иллюзии, не терпит фикции, самолюбования формы, контролирующей, распределяющей по ролям, живописущей в виде сцен человеческие страдания и страсти. Допустимо только нефиктивное, неигровое, непросветленное выражение страдания в его реальный момент".

А это кто говорит? Кто этот критик, посрамляющий "игру" и "иллюзию" перед лицом "реальности"? Да это все тот же ехидный черт, продолжающий соблазнять Леверкюна своей диалектикой.

Важно отдавать себе отчет в особенностях этого "реализма", когда отрицание игры иллюзорной последовательно связывается с перенесением ее в другую сферу — и здесь самое время вспомнить Ф. Ницше, имя которого в замкнутых рамках манновского романа не могло быть упомянуто. Противопоставляя "аполлонийскому" началу начало "дионисийское" (на которое совсем не случайно ссылался М. Дюфрэн), Ф. Ницше писал в "Рождении трагедии из духа музыки": "Аполлон стоит передо мной как преображенный гений principii individuationis, при помощи которого только и достигается истинное спасение и освобождение в иллюзии, между тем как при мистическом ликующем зове Диониса разбиваются оковы плена индивидуации и широко открывается дорога к материям бытия, к сокровеннейшему ядру вещей"*** Это, с одной стороны, придает но-

* М. Дюфрэн. Искусство и политика. Выступление на VII Международном эстетическом конгрессе. "Вопросы лит-ры", 1973, №4, стр. 109.

** Ф. Ницше. Полн. собр. соч., М., 1912, стр. 113.

вое, освежающее качество самой жизни, с другой -- ведет "к новому созданию искусства, — и притом искусства уже в метафизическом широчайшем и глубочайшем смысле"*.

Какие-либо нравственные, социальные, рациональные ограничения при этом, естественно, даже не обсуждаются — ведь речь идет о предельном освобождении. По мнению черта, для которого, как и для Ницше, "художник — брат преступника и сумасшедшего", желанное состояние "гениального" экстаза стоит того, чтобы достичь его любыми средствами. Более того, всего эффективней оно достижимо именно средствами, отвергаемыми "общепринятой" моралью. "Я блажен! Я вне себя! Какая новизна, какое величие! Мои щеки пылают, как расплавленное железо! Я в неистовстве, и всех охватит неистовство в такое мгновение"... "То, что тебя возвышает, что увеличивает твое чувство силы, могущества, власти — это, черт побери, правда, будь она хоть трижды ложью с добродетельной точки зрения!"

Один из парадоксов, которые демонстрирует круг идей, связанных с проповедью высвобождения в человеке чувственного, аффективного, внесоциального, состоит в том, что в подобном рода "витальном взрыве" слишком много заданного, умышленного, чтобы говорить об истинной неподдельности чувств. Аффективный приступ можно вызвать преднамеренно — для этого существует хорошо разработанная техника, фармакология, которой без излишней брезгливости пользовались и пользуются далеко не всегда добросовестные идеологи и практики. И надо отдавать себе отчет в опасности, какую таит в себе возможность злоупотребления "витальными силами", "освобожденными" от всех сковывающих ограничений.

Идеи имеют свою внутреннюю логику, которую не всегда предвидят даже их творцы. Работая над жизнеописанием своего Левверкюна, Т.Манн не в последнюю очередь возмущался на том, почему эстетические и, казалось бы, элитарные воззрения Ницше оказались питательной почвой для самых низменных, варварских, бесчеловечных концепций. "Существует какая-то близость, какая-то несомненная связь между эстетизмом и варварством, над которой нам не мешало бы поразмыслить", — писал он в своем позднейшем эссе "Философия Ницше в свете нашего опыта" — опыта людей, переживших фашизм. — "Эстетизм Ницше... вносит в его философские излияния что-то "незаправдашнее", безответственное, ненадежное"***.

* Там же, стр. 107.

** Т.Манн, собр. соч. М., 1961, т. 10, стр. 385, 386. Ср. характеристику

5. Эстетика и этика

Только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности, — настаивал Ницше, развивая взгляд на искусство как на высшую задачу и собственно метафизическую деятельность в этой жизни. Ему слишком было противно расхожее благонравие, не желающее знать о прекрасном.

Но вправе ли этот эстетический взгляд претендовать на 'полноту' жизнеощущения? Пожалуй, утверждение приоритета эстетики над этикой или наоборот свидетельствует именно об утрате жизненного единства, заключенного в двойном, платоновском смысле слова "хороший".

Есть своя красота и в темных безднах, в разложении и распаде; современное искусство особенно научило вникать в них; это тоже соответствует природной и конкретной сущности человека, для которого и болезнь и смерть естественны. Более того, распад и смерть необходимы и неизбежны в круговороте мироздания; но они могут существовать лишь включенными в некое устойчивое, непреходящее, обновляющееся единство. Хаос для искусства может быть лишь частностью или средством — ибо оно (как и сама жизнь) по определению есть преодоление хаоса, то есть распада и смерти. И в этом смысле форма все-таки связана с красотой, как бесформенность с безобразием, в этом смысле красота, возможно, есть выражение устойчивости, полноты, гармоничности.

Вот почему забота об эстетической "форме" может иметь и этический смысл, особенно там, где мы не можем безусловно и сполна судить о правильности своих действий. Если мы не можем до конца чего-то постигнуть умом, просчитать всех последствий своего действия, надо положиться на форму — правила, запреты, предписания, не обсуждая их истинности (мысль М. Мамардашвили). Вот почему подчинение "дисциплине игры" (тоже родственное соблюдению эстетических законов) — залог ее гуманистического характера, способности противостоять тенденциям варварства (мысль И. Хейзинги). "Что от Бога, то упорядочено", — эти слова из Послания к римлянам вспоминает однажды не кто иной, как манновский Леверкюн. Впрочем, что для него означает порядок? Двенадцатитоновую систему.

Элемент частной "лжи" может входить в цельную истину;

Ницше из того же эссе: "Этот великий лицедей и мастер перевоплощения" играл "свою жизненную трагедию — я чуть было не добавил: им самим инсценированную" (там же, стр. 347).

эти частные элементы истины могут быть саморазрушительны. Но в целом искусство, видимо, все же создано человечеством из какой-то потребности в устойчивости, самосохранении. Я уже не говорю о том, что, увековечивая в искусстве преходящие черты жизни, человек пытается противостоять страху смерти, продлить собственное существование: "Нет, весь я не умру"...

Конкретное произведение искусства не может ни изменить, ни улучшить мира; но искусство в целом и в "высоких", и в "массовых" своих проявлениях, вносит в него одухотворенную организацию, без которой он не мог бы существовать. Пусть даже человек сам не всегда сознает глубинную суть этой потребности.

"Я считаю искусство изначальным феноменом, — писал одному из своих корреспондентов Томас Манн в 1922 году, — который ни при каких обстоятельствах не перестанет существовать, а художника как форму бытия — бессмертным... Было время, когда один великий человек, Шиллер, мог сказать: человек лишь тогда вполне человек, когда он играет. В такие серьезные и трудные времена, как наше, это звучит фриволено, и все-таки я уверен, что та священная и освобождающая игра, которую называют искусством, всегда будет необходима человеку, чтобы он чувствовал себя действительно человеком".

Творчество как служение жизни

Итак, можно сказать, что обладая свойствами бесцельной на вид игры, искусство все-таки служит каким-то глубоким и насущным человеческим потребностям — оно по-своему способствует поддержанию и сохранению жизни...

Вот, дошел до мысли, казалось бы, своим умом — но заглянул в Платона: у него давно, оказывается, есть про это:

"Все, что вызывает переход из небытия в бытие — творчество".

Не это ли роднит искусство со всякой животворящей энергией человека, будь то любовь или культурное деяние? Продолжение рода, физической жизни есть творчество, — так объясняет Сократу мудрая гетера Диотима. Но — разве мы рождаем только тела? — замечает один мой герой.

В таком случае искусство представляется одной из сил, призванных противиться энтропии, распаду, гибели. Ведь если человек был для чего-то создан, то не для того ли, чтобы теплом своей жизни, страсти, творчества поддерживать и обновлять энергию мироздания, обреченного без него?

Москва

Дм. Молок

OPUSCULA
(СЕМАНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ)

"...я удивился кощунственности сопоставления, не более кощунственного, впрочем, чем самое искусство его".

В.В.Набоков. "Весна в Фиальте".

I.

Колокольня — это Вавилонская башня; она отвечает тому единственному признаку, которым охарактеризована Вавилонская башня в Библии (Быт. 11, 1-9): она — "высотой до небес". Согласно Библии, Вавилонская башня строилась людьми "чтобы не рассеяться". Таково назначение и колокольни.

Во фреске Воскресенского монастыря в Тутаеве (XVII век) Вавилонская башня представлена именно в образе шестиярусной колокольни.

Почему так высоки именно монастырские колокольни (ср. Новодевичий монастырь, Троице-Сергиеву лавру, Иосифо-Волоколамский монастырь и мн. др.)? — Яхве не дал осуществиться Вавилонской башне, не дал ей дойти до неба, рассеяв людей; монастырская колокольня доходит до неба, символизируя в системе христианской мысли единение монастырской общины (и в реальности призывая ее всякий раз звоном колоколов объединиться в службе).

II.

Сталинское метро — это образ советского рая, опущенный в преисподнюю. Строительство метрополитена Л.М.Кагановичем — это подвиг Геракла, спустившегося в Аид. Манизеровские матросы на станции метро "Площадь революции" — это титаны, низвергнутые в преисподнюю.

Эпиграфический анализ надписей в вагонах московского метро и их сравнение с надписями в пригородной электричке позволяет просматривать глобальные демонологические закономерности в мельчайших социокультурных единицах. А именно, пригородная электричка отличается от поезда метро не только тем, что она идет по земле, а тот — под землей, что здесь холодно, а там — теплее, что тут едут дачники, а там — деловые люди; но и тем малозаметным и, казалось бы, вовсе ничтожным обстоятельством, что надписи в электричке нанесены изнутри вагонов и их можно скоблить, а в поезде метро они нанесены снаружи (по перевернутым трафаретам) и не соскабливаются. Всем известны эти соскобленные надписи в пригородных электричках: "НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ" обычно приобретает вид "не писоться" (с очевидной грамматической ошибкой), либо "слон", либо "не слоняться" и т.д. А вот редкий образец соскобленной надписи: "МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ" без единой грамматической ошибки, т.е. безо всякой натяжки, приобрели следующий вид: "места для аидов и частников". В метро вы ничего подобного не увидите, поскольку надписи там нанесены снаружи, их невозможно скоблить.

Таким образом, мы видим, что некий метрополитеновский начальник, распорядившись однажды намазывать надписи снаружи по перевернутым трафаретам, интуитивно осуществил глобальную демонологическую закономерность: аиды и частники не получили специально отведенных им мест в перевернутом нашем раю.

III.

Всякое искусство имеет своего зрителя. Если, скажем, картины Пуссена программируют размышляющего, философствующего зрителя, если произведения Юккера и Тенгли соз-

дают своего — раскрепощенного, раскованного, играющего зрителя, то в Древнем мире мы видим иное соотношение.

Повсюду — в эпиграммах, в экфрасисах, в античном романе — наблюдается миметическое толкование искусства. Статуя "точно живая", она словно сходит с постамента, "вскакивает, как живая" и т.д. Своим пределом эта тенденция имеет миф о Пигмалионе, а ее архетип — оживающее, согласно египетской теологии, в результате ритуала "отверзания уст и очей", изображение. Если искусство имеет тенденцию оживать, то зритель предстает в античности как зачарованный, "окаменевший". Эта тенденция имеет своим пределом миф о Медузе Горгоне, под взглядом которой все живое окаменеваеет.

Таким образом, соотношение искусства и "зрителя" в Древнем мире может быть описано в виде пары "ожившее искусство *versus* окаменевший зритель".

IV.

Диоген жил в бочке, Кант поставил себе неизменным правилом прогуливаться по утрам, советские философы ездят на работу в автомобилях.

Размышляя у парадного подъезда Института философии АН СССР, мы наметили следующую типологическую закономерность в иерархии основных направлений нашей философии. Сюда прибывают на черных "Волгах", на "Жигулях" и на "Запорожцах". Если на первых подъезжают философы-марксисты, то на вторых уже подкатывают специалисты по немецкой классической философии, а на третьих подруливают историки русской религиозной мысли.

Когда перед голицынским особняком землекопы вырыли траншею для прокладки труб, философы повалили на работу пешком.

V.

Согласно Аполлодору (II, 4, 2), Персей сражается против Медузы с кривым ножом в одной руке (подарком Гермеса) и с зеркальным щитом в другой (подарком Афины). Глядясь в зеркало, Персей не просто избегает каменящего взгляда Медузы. Зеркало Афины — волшебное, оно обладает свойством

трансформировать ужасный лик Медузы, обезвредить его, вырвать жало убийственного взгляда.

По рассказу Михаила Пселла (Хрон. XVI), византийский император Василий II выходит на поединок против мятежника Варды Фоки с мечом в одной руке и выносной иконой Богоматери в другой. Выставляя икону, Василий надеется отразить врага, обезвредить его, вырвать самое жало мятежа.

Там, где античный герой смотрит в зеркало, христианский император уповает на святое изображение. Но оба сжимают в руке клинок.

VI.

По смыслу мифа Нарцисс не потому отвергает любовь нимфы Эхо и прочих, что он с самого начала заносчив — такая беспричинная заносчивость была бы необъяснимой. Как раз наоборот, его гордыня проистекает из того, что его судьба уже предсказана Тиресием, то есть свой "нарциссизм" (как целокупный смысл мифа) он несет в себе изначально. Он отвергает Эхо именно потому, что уже влюблен в себя, если угодно — он всегда глядится в зеркало, и после смерти, в Аиде, будет смотреться в воды Стикса. У Овидия (Мет. III, 341-510) события изложены в обратном порядке, но это — литературная инверсия. Здесь парабола смысла мифа не совпадает с фабулой литературного сюжета.

Уточнив это обстоятельство, мы можем сказать, что зеркало Нарцисса — кривое, поскольку, идя поперек гармонии Эроса, приводя к гибрису — высокомерной заносчивости и, в конечном счете, к гибели героя, оно нарушает соразмерность мироустройства, в точном греческом значении, симметрию, т.е. главное свойство "правильного" зеркала. Отсюда резкая асимметричность, несовпадение героев мифа: Эхо говорит отраженным голосом, но всегда остается за кадром, она отвечает, отражает, но остается безответной, безотрадной, и, когда совпадение, кажется, вот-вот произойдет (Нарцисс кричит: "Здесь мы сойдемся!" — "Сойдемся!" — отвечает Эхо), Нарцисс отвергает ее. Его гибель теперь неизбежна, потому что отвергая Эхо, разбивая зеркало, Нарцисс приводит к исчерпанию смысл своего собственного образа. Только теперь, когда асимметрия зияет дырой разбитого зеркала, его гибрису становится

непомерной. В изложении Овидия он погибнет, когда замутился источник, в который он смотрится; но это лишь дублирование того же самого мотива разбивания зеркала.

VII.

В середине или в конце VII в. до н.э., внезапно и сразу, в Греции появляется монументальная каменная архитектура и скульптура.

Дорический храм возник тогда, когда вселенная вдруг расширилась для эллинского ума, когда колонизация соединила разрозненные клочья ойкумены в единое целое, и единый универсум предстал в облике Медузы Горгоны. Именно теперь деревянная конструкция древнейших храмов переводится в камень, а его фронтоны украшают этот образ универсума — Медузы Горгоны (западный фасад храма в Керкире и др.). Греческий храм стал каменным, он окаменел перед ликом Медузы — ликом универсума. Космогонический мотив убийства-расчленения позволяет сопоставить греческую Медузу, обезглавленную Персеем, с чудовищами типа аккадской Тиамат, также расчлененной Мардуком надвое, воплощением универсума.

Но в храме не просто окаменевают деревянные конструкции. В нем также застывает, откладывается древняя семантика. Он не просто возводится из камня, он строится из семантического материала. Если дерево здесь переводится в камень, то смысловая система мифологии — в художественные образы. Так семантика оборачивается поэтикой.

VIII.

В анакреонтическом стихотворении юноше является во сне Анакреонт:

”Вином благоухали
Уста, и вел за руку
Его Эрот: у старца
Уже дрожали ноги!”

(пер. Г.Церетели).

Юноша целует и обнимает старика, а затем водружает на голову

венок, "пропахший Анакреонтом", и с той поры дышит одной любовью.

Алеша Карамазов был близок к отчаянию, когда "провонял" старец Зосима.

Если вонючий античный старик вдохновляет юношу, то провонявший старец подвергает его искушению.

IX.

В XV песне "Илиады" (63-77) Зевс предсказывает ход событий Троянской войны: бегство ахейцев, ополчение Патрокла и его гибель от руки Гектора, затем и гибель Гектора от руки Ахилла, наконец, падение Трои. Здесь говорится об "упованьи Пелида", чаянии им судьбы; но Пелид уповает, конечно, не на смерть Патрокла, — это одна из видимых "нелепостей" "Илиады", которая, видимо, не маркировалась, пропускалась как незначущая слушателем; здесь видно, что Гомер вышивает свою композицию по готовой основе сюжета, хорошо известной слушателям, здесь проглядывает, просвечивает, как в тонком месте, эта основа, присутствующая в сознании азда и в представлении слушателей.

По-видимому, правомерно говорить об архетипических моделях таких представлений, эксплицитно реализованных в идеологии Древнего Египта, культура которого, как это полагал еще Геродот, вообще архетипична для Греции. В египетской гробнице двойник выходит через "ложную дверь", фланкированный слева и справа симметрично предстоящими на косяках фигурами (причем симметрия изображений эксплицируется здесь симметрией надписей, читающихся справа налево и слева направо, навстречу фигурам), к жертвенному столу для принятия жертв. В "Илиаде", если принять схему ее структурной симметрии, предложенную Р. Гордезиани, центр также заполнен "явлением двойника" — появлением Патрокла, фланкированным слева и справа главными ахейскими героями. Патрокл — двойник Ахилла, одетый в его доспехи и принимаемый троянцами за Ахилла. Патрокл выходит к ахейцам в XI песне "Илиады" (этому явлению предшествует и за ним следует экспозиция главных ахейских героев), чтобы принять жертвы на своих погребальных играх в XXIII песне.

Совпадение структуры явления двойника и принятия

жертв в египетской гробнице и у Гомера существенно. Но если в Египте она эксплицитна, то в Греции просматривается как имплицитная структура, "утопленная" в ткань гомеровского повествования, проглядывающая из глубины.

Х.

Плутарх в биографии Александра (XXIV) рассказывает, что во время затянувшейся осады финикийского города Тира (332 г. до н.э.) тот видит во сне сатира, которого хватает после долгой погони. Толкователи сновидений представили Александру слова "δάτιρος" как "δὰ Τῦρος" ("твой Тир"), обещав ему победу над городом.

Зигмунд Фрейд счел это античное толкование абсолютно правильным. Но в каком смысле? Если следовать Фрейдю в его концепции сновидений, Александр так желал взять Тир наяву, что работа сновидения заместила по созвучию "твой Тир" (скрытая мысль) образом сатира (явное сновидение). Взятие же города — по-видимому, показалось бы Фрейдю результатом применения осадной техники македонян, а также и многих других обстоятельств, о которых подробно сообщают античные авторы, но в которые Фрейдю вдаваться недосуг: в конечном счете оно было случайным. Но он прямо говорит, что именно под влиянием толкования этого сна Александр продолжил осаду!

Оба психиатра, античный и современный, сходятся в том, что сон оказался в руку, он был вещим, но делают это по-разному. Там, где прорицатель предсказывает победу, Фрейд изучает бессознательное; там, где античный толкователь видел цельного человека и героя, современный психоаналитик расщепляет его сознание и признает в нем неврастеника; там, где античность окружает исторического героя легендой, современность представляет его судьбу как цепь необъяснимых случайностей.

XI.

Когда Марсель Дюшан на Нью-йоркской выставке 1917 года показал свой, ставший знаменитым, Писсуар, — это было, конечно, менее всего возвращением низкого жанра в современное искусство. Это не было и только анализом природы

аутентичности объекта. Писсуар Дюшана имеет глубокий мировоззренческий смысл, вызывает многозначные ассоциации.

Образы испражнений, обливания мочой и потопления в моче, забрасывания калом, как это показал еще М.М.Бахтин, глубоко амбивалентны – они получают самое существенное отношение к жизни-смерти-рождению. Кал и моча осуществляют связь неба и земли через посредство "телесного низа". Согласно античному мифу, Юпитер, Нептун и Меркурий породили Ориона из своей мочи (Ovid. Fast.). Фрагмент из ателланы Помпония ("Ты, Диомед, облил меня мочой...") был источником XVII главы романа Рабле, повествующей о потоплении парижан в моче Гаргантюа. Знаменитая XIII глава о подтирках Гаргантюа также заставляет вспомнить об античности – об античной подтирке сообщает Сенека в Письмах к Луцилию. В общественном туалете античного Тимгада сидения фланкировались изваяниями дельфинов – символом поглощающей морской стихии и преисподней. Античное отхожее место, как и античная баня, было осуществлением чистоты помыслов через чистоту тела. Оно провозглашало также полноту жизни. Вот одна античная туалетная надпись (с того же форума в Тимгаде): *lavi- gi ludere ridere occ est vivere* ("мыться, играть, смеяться – значит жить").

Как античный город, так и дадаистская выставка получили серьезную обработку. Помпеи, Геркуланы, Стабии в 79 г. н.э. были засыпаны Везувием к удаче археологов, а выставка в Кельне в 1920 году была разгромлена публикой к полному триумфу дада. Но между античным стульчаком и Писсуаром Дюшана есть существенное различие. Если античная канализация смывала нечистоты, то современность помогает индивиду "канализировать" (по Фрейду) и реализовать свою психическую энергию, а в нео-абстрактной живописи, вслед за Жаном Бодрийяром, даже создает свою риторику "секций" и "каналов" (П.Хэлли). Если редимейд Дюшана становится художественным объектом через абстрагирование от сферы утилитарного, через отрицание ее, то античный стульчак, являясь в форме мраморного кресла, работает как раз на повышение утилитарного, утверждает его. Если Писсуар Дюшана эпатирует и вызывает на распознавание природы искусства, то античный туалет примиряет и служит познанию смысла жизни.

ХП.

В 479 г. до н.э., после победоносных сражений при Саламине и Платеях и изгнания персов, афиняне, возвратившись на Акрополь, решили не восстанавливать своих святынь — разрушенных храмов и низвергнутых статуй, полные религиозных чувств и ненависти к врагу, они благоговейно захоронили их тут же, на Акрополе. В 80-е годы XIX века греческий археолог Каввадиас, раскопавший зарытые статуи архаических кор, назвал свою находку "персидским мусором". Археологи получили надежный *terminus ante quem*. Это было открытие греческой архаики.

Сходным образом проблема мусора была решена у нас — в знаменитых хрущевских пятиэтажках. Здесь, как в Древней Греции, нет лифта, здесь газовая колонка, но особенно далеко идущие социокультурные последствия имело благотворное отсутствие здесь мусоропровода. Ваш мусор нельзя спустить в никуда, его нельзя избрызгать, от него нельзя просто отделаться. Он требует нежной заботы, вызывает благоговейные чувства. Он неизбытен, он наделен качеством сакральности, его культовая реликвия — мусорное ведро. Совершая свой ежедневный ритуал выноса святыни в контейнер, расположенный тут же, во дворе, обитатель хрущобы наполняется религиозным чувством и ненавистью к врагу.

Можно думать, что вонючие мусорные контейнеры как место захоронения дорогих реликвий были установлены Хрущевым во дворах своих домов с учетом исторического античного опыта — в упреждение нашествия персов.

Москва



Вадим Линецкий

”КОГДА ПОГРЕБАЮТ ЭПОХУ...” **(О новом романе Эдуарда Лимонова)**

Условием понимания является не только признание инаковости другого, но и признание того, что ему есть, что сказать нам.

Х.-Г. Гадамер

Воспоминания о детстве — привилегированный жанр отечественной словесности, что естественно для литературы, озаченной нравственным уровнем своих читателей. Детство — там исток, там — корни, а потом — отрочество, пора не менее живописная, чуть позже — юность. Описать все это — вот и трилогия по типу лев-толстовской или максим-горьковской. И хотя последний, как известно, в отличие от своего предшественника на мемуарном поприще, из детства сразу попал ”в люди”, а оттуда — в ”университеты”, тем не менее — при всех последующих разночтениях — можно установить как факт, что у каждого порядочного русского писателя было детство, даже у Багрова внука. Эдуард Лимонов — первый, насколько я могу судить, у кого детства не было. У него была Великая Эпоха.

”...У нас была Великая Эпоха” — так называется последний роман писателя, известного пока что на родине, большей частью, своей, прямо скажем, скандальной репутацией. С такой репутацией можно говорить только от себя: ”Это я — Эдичка”, но никак нельзя говорить за всех. На худой конец, можно было бы еще назвать книгу ”У меня была Великая Эпоха”, но заик-

нуться о том, что помянутая Эпоха была Великой для всех — верный способ получить подзатыльник от досужего критика. Поэтому Лимонова не должно удивлять, что подзатыльник не заставил себя долго ждать. В конечном счете не должно его удивлять и то, что за подзатыльником "справа" последовала затрещина "слева". Обозначенное таким образом различие в характере рукоприкладства, которому подвергался Лимонов на страницах соответственно "Лит. России" (№10 от 09.03.90) и "Нового мира" (№3, 1990), верно передает, на мой взгляд, характер претензий этих изданий к его последней книжке. Впрочем, это не мешает нам воспользоваться ходом мыслей новоявленного критика как своего рода матрицей, тем самым изрядно облегчив себе труд. И хотя сама по себе проблема, которой посвящена статья в самом толстом из "толстых" советских журналов, равно как и ее метафорическая формулировка в заглавии — "Подводные камни свободы", — представляется нам актуальной для текущего литпроцесса, мы вынуждены сразу же заявить о своем решительном несогласии с рассуждениями критика. По этому причине в данной статье нам все же придется пойти другим путем, не слишком полагаясь на нашего Ивана Сусанина, хотя бы его и звали на этот раз Сергеем Костырко.

Теперь и не верится, что еще совсем недавно читать в советских журналах было нечего. Поэтому поневоле приходилось читать то, что было. Так, например, прочитали мы в свое время и повесть "Мемуары сорокалетнего" С. Есина — литератора умеренно либерального и умеренно талантливого. Прочитав, забыли и, наверно, не вспомнили бы, когда бы не напомнил Лимонов. Насколько рассчитывал Лимонов на нашу памятьливость — судить не берусь, тем более, что могу только интуитивно догадываться о его оценке советской литературы двух последних десятилетий. Но раз уж мы вспомнили давнишнее произведение Есина, то имеет, вероятно, смысл сопоставить с ним последний роман Лимонова, тем более, что читатель от этого ничего не теряет, а оба литератора — и неслышно живущий в Москве Есин, и разбивший походный бивуак в Париже Лимонов — надеюсь, только выиграют.

Как и роман Лимонова, "Мемуары сорокалетнего" неспешно повествуют о послевоенной эпохе, на которую пришлось детство автора, со всеми ее атрибутами: коммунальной

неустроенностью быта, живущими в соседнем дворе хороши-ми товарищами, родителями, разлученными железной логикой обострения классовой борьбы (последний момент, впрочем, мог переходить в свою диалектическую противоположность в том случае, если детство, как у Лимонова, протекало в среде, ставшей инструментом проведения этой логики в жизнь). Общностью темы предопределено и композиционное сходство двух книг, составленных из череды главок, которые, как фото-графии, перебирает в памяти сорокалетний автор "Мемуаров", сидя у постели умирающей уже "в наши дни" матери. Ее тихая смерть и незаметные похороны — доходчивый символ затянувшегося прощания с эпохой (которая для Есина остается прежде всего синонимом детства), подчеркивающий кровную связь с эпохой автора. Бесхитростное повествование об эпохе в меру правдиво, в меру натуралистично и, как уже говорилось, в меру талантливо. Весь пафос, однако, в том, что эпоха для Есина — не меньше, чем для Лимонова, хотя и по-своему — безусловно является Великой (но на полном серьезе, без тени лимоновской иронии): внутренне, нравственно, как пора становления личности. И мы нисколько не ставим под сомнение справедливость и обоснованность этого — типичного для поколения "шестидесятников" — восприятия Великой Эпохи, пока оно не претендует быть единственно правильным и в таковом качестве нормативным для литературы.

"Это книга — мой вариант Великой Эпохи. Мой взгляд на нее", — с такого обещания начал свое повествование Лимонов и, в целом, его сдержал. Не скажу, впрочем, что новизна лимоновского варианта — тематическая: здесь он остается в границах, очерченных повестью Есина. Что привнес своего Лимонов, окончательно формулируется в сознании читателя лишь под конец книги, совпадающей, как и следовало ожидать, с концом детства, а равно и с концом Великой Эпохи. Символом конца вновь становится смерть и похороны. Хоронят на этот раз майора Солдатенко, успевшего к тому времени зарекомендовать себя с самой буффонной стороны, хоронят пышно, "словно и не майора НКВД хоронят, а Цезаря Августа". Бурлескное несоответствие языка предмету и обоим — парадному образу Великой Эпохи, благодарно сохраненному памятью части населения нашей страны, достигает здесь высшей точки напряжения и разряжается великолепной грозой, заставляющей участни-

ков торжественных похорон сосредоточиться на подробностях натуралистического характера. Как всем нам прекрасно известно, "когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит". В данном случае потому, что связь Лимонова с Великой Эпохой — это не связь с детством. А потому Эпоха — как бы и его, и не его: недостаточно его, чтобы ее конец ретроспективно совпал со смертью более близкого человека, и недостаточно чужая, чтобы начисто выкинуть ее из памяти. Это диктует и соответствующее — иронично-отстраненное — к ней отношение, которое мне лично у Лимонова нравится. Привлекательно было бы истолковать это в том смысле, что, дескать, детство, совпавшее с Великой Эпохой, отнято, отчуждено, как отчужден от самого себя человек в тоталитарном мире. Вполне возможно, что такое истолкование могло бы оправдать Лимонова в глазах людей, придерживающихся сходных с новомировским критиком вкусов. Поэтому обидно, что текст не дает нам на это права. Наоборот, вполне, на мой взгляд, законно будет попытаться объяснить нежелание автора идентифицировать себя со своим героем (о котором повествуется в третьем лице) и Эпохой тем, что у Эдика Савенко со "взрослым дядей писателем" Эдуардом Лимоновым общее — одно имя. И еще язык. Именно через язык, надо полагать, пробился Лимонов к своему варианту Великой Эпохи "сквозь навязанные чужие", а это в свой черед обусловило и то, что лимоновский вариант — "в известном смысле... — фольклорный вариант". Но если усмотреть в этой сосредоточенности на языковом сознании эпохи тонкий намек на языковедческие штудии товарища Сталина, придавшие незабываемо-своеобразный колорит последним годам Великой Эпохи, было бы недопустимой бестактностью, то, напротив — вполне легитимно трактовать вытекающую отсюда "странную бесстрастность" Лимонова, неприятно удивившую новомировского автора, как следствие недоступности для нас Великой Эпохи, существующей, как мечта, в ином измерении, иначе, как только на путях погружения в ее язык.

Связь с эпохой как с языковым преданием, разумеется, не такая интимная, как связь с детством. Детство — частное достояние того или иного лица, в данном случае — Эдика Савенко. Сущность языка и языкового предания в том, что они переданы нам, а потому одновременно и принадлежат, и не принадлежат нам. Лимонову не меньше нашего хочется понять

Великую Эпоху, успевшую подернуться неким энигматическим флером, ставшую для нас почти фольклорным, а следовательно, языковым преданием. Только не в пример нам, он знает, что понимание возможно только через язык. Но вот он-то, родимый, похоже, и разделяет нас больше всего — говорим ли мы сегодня о Пушкине или о нашей новейшей истории. Впрочем, он же и связывает — общими предрассудками. Ничего рокового в этом нет, только не нужно их стесняться, не нужно думать, что мы от них уже свободны. Ведь вот же современная герменевтика, к примеру, считает, что предрассудки — не помеха пониманию, а открытая дверь для исторического — со-, по- и самосознания. Ибо, как компетентно утверждает Х.-Г. Гадамер: "Предрассудки отдельного индивида в гораздо большей степени, чем его суждения, составляют историческую реальность его бытия". И пока мы не поймем, насколько мы сами являемся продуктом наследственных предрассудков, рано нам, господа, рассуждать о возрождении самосознания русского народа. Уверю вас, рано! В предыдущих книгах Лимонов убедительно доказал, что он не стесняется никого и ничего, и, как показывает его последний роман, менее всего — наших общих с ним предрассудков, бережно сохраненных великим могучим русским языком, что, разумеется, ни в коей мере не ставит под сомнение пригодность последнего в качестве поддержки и опоры во дни тягостных раздумий о судьбах нашего отечества. Напротив! Поэтому непреходящей заслугой Лимонова в глазах всей либеральной общественности по обе стороны границы должно, на мой взгляд, стать то, что он раньше многих понял позитивное значение и ценность предрассудков, представив в своем романе о Великой Эпохе подробный их каталог за отчетный период.

Первым делом, конечно, предрассудок должен быть опознан и осознан в качестве такового. И тут как нельзя кстати оказываются американизмы и вообще разнообразные "вестернизмы", использование коих следует рассматривать как стилистический, а не коммерческий прием, цель которого — не пояснение реалий советского быта (чтобы сделать книгу более доступной западному читателю, считает новомирский критик и крупно ошибается), а их ироническое остранение. Сопоставление с техникой соц-арта в целом и творчеством Виталия Комара и Александра Меламида в частности (например, с такой их

работой, как "Onward to the final victory of capitalism") напрашивается само собой. Впрочем, это сопоставление можно углубить и продолжить. В обсуждаемом романе Лимонов использует и другой прием, излюбленный соц-артистами, воссоздающими монументальные образы Великой Эпохи из заведомо недолговечных материалов, в результате чего произведение как бы отрицает само себя, увеличивая дистанцию по отношению к тому, что задумывалось "на века". Нечто подобное происходит и у Лимонова. Обещанный заглавием образ Великой Эпохи взрывается изнутри благодаря материалу, из которого он воссоздан. Материал этот — языковое предание, русский язык, успешно переработавший свой советский суррогат, на котором должны по идее изъясняться "строители коммунизма", а тем паче его защитники в форме НКВД. Герои романа говорят языком, на котором говорила "толпа народная" Великой Эпохи, языком, на который сбиваемся мы, языком, власти которого подчинил себя автор. Так, к примеру, офицеры НКВД не гнушаются (и правильно делают!) такими замечательными самодельными стихами, что трудно не привести хотя бы одно из них, какое покороче, читателей и своего удовольствия ради:

Эдя-бредя
Съел медведя,
Поймал чушку
За пичужку...

Всплывшая в памяти частушка побуждает автора заняться этимологическими изысканиями, которые приведут его на нью-йоркский пустырь, подкрепляя, кстати говоря, наше наблюдение о детерминированности лимоновского сознания языковым преданием эпохи — в отличие от обычной детерминированности мемуаристов вещами, наделенными ассоциативными потенциями, реализовать которые — задача памяти автора мемуаров (пример с прустовским пирожным стал настолько банальным, что привести его можно разве только в скобках).

В итоге образ Великой Эпохи оказывается предельно снижен — подобно тому, как сниженной либо скомпрометированной предстает мифология Великой Эпохи в работах соц-артистов. И если соц-арт является единственным оправданием существования соцреализма в изобразительном искусстве, а

быть может, и самого социализма в российской действительности, то последняя книга Лимонова в какой-то мере оправдывает как оригинальную литературу Великой Эпохи, так и ее нынешних эпигонов, подвигающихся в редакциях широко читаемых в узких патриотических кругах изданий. Натурально, к примеру, не смогла промолчать "Лит. Россия", упорно не желающая поступаться принципами. Упреком в "грубости и пошлости" и мало прикровенном цинизме на страницах этой газеты Лимонов был выгнан вон из русской литературы. Это не удивляет. Чуть-чуть больше удивляет, что и автор статьи в "Новом мире", кажется, всерьез пишет о том, что Лимонов порвал с традициями российской словесности. У каждой литературы, конечно, свои критерии допустимого. Но — не говоря уже о том, что традиция только благодаря отрицанию и становится традицией — был ведь у нас и такой антигероический талант, как В.В.Розанов, не только утверждавший, как помнит Лимонов, что его "приходно-расходная книга стоит всех любовных писем Тургенева к Полине Виардо", но и последовательно снижавший свой собственный образ и образ современной ему эпохи. К стилистике дневниково-исповедальных книг Розанова восходят романы Лимонова и, совсем уж очевидно, его "Дневник неудачника".

Было бы, впрочем, неуважением к Лимонову утверждать, что антигероический пафос его последнего романа, равно как и снижение собственного образа в предыдущих книгах, всегда дают желаемые результаты. Но даже если сосредотачиваться исключительно на вкусовых просчетах, мы все-таки и тогда не вправе отказать ему в оригинальности и новизне — хотя бы в такой, в какой ведь не отказал в свое время Игорю Северянину известный ревнитель строгих вкусов Н.Гумилев, признавший: "Нов он тем, что первый из всех поэтов он настоял на праве быть искренним до вульгарности".

Ну а как быть со свободой, в которой новомировский критик Лимонову решительно отказал, объявив обсуждаемую книгу примером внутренней несвободы, грозящей сделаться распространенной в связи с набирающим темп процессом коммерциализации литературы? Присоединяясь к опасениям С.Костырко, я готов присоединиться к нему и в том, что он противопоставляет этому процессу — к идеалу "вольного художника", определяемого так: "Вольный художник" — сложное и проти-

воречивое понятие. Он подразумевает столько же воли, сколько и неволи. Неволи, которая всегда сладостна для писателя, сознающего, что он подчиняется в своем творчестве чему-то, что более значительно, чем он сам. И воли подчиниться именно этому, именно своему писательскому предназначению, а не кому-то или чему-то со стороны". Неоспоримо, что идеал "вольного художника" — достойный идеал, как неоспоримо и то, что этот идеал внутренне диалектичен. Трудно, однако, отрицать, что Лимонов, вскормленный, как и все мы, на диалектике (спасибо ленинской партии!), вполне удовлетворяет требованиям, предъявленным к "вольному художнику" — и не потому, конечно, что живет в Париже и любит при случае повторить по-английски как свой писательский девиз афоризм Бакунина "Страсть к разрушению — творческая страсть", но главным образом потому, что он действительно подчинил себя чему-то сверхличному, более значительному, чем он сам, а именно — языку. Требовать от писателя большего — попросту несправедливо.

Ленинград

Эд. ЛИМОНОВ

Мужской нездвиг

РОМАН

Цена — 114 фр. фр.

При покупке в издательстве "Синтаксис" — скидка 20 %

В САДАХ
РОССИЙСКОЙ
СЛОВЕСНОСТИ

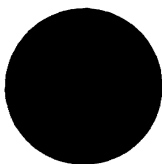
Л. Петрушевская

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Один врач начал лечить себя сам и долечился до того, что вместо одного мизинца на ноге у него потеряла чувствительность вся ступня, а дальше все поехало само собой, и спустя десять лет он очутился на возвышении в отдельной палате с двумя аппаратами, из которых один всегда ритмично постукивал, давая лежащему искусственное дыхание. Все продвигалось теперь без участия лежащего, потому что у него была полная неподвижность, даже говорить он не мог, ибо его легкие снабжались кислородом через шланги, минуя рот. Представьте себе это положение и полное сознание этого врача-бедняка, которому оставалось одному лежать целые годы и ничего не чувствовать. Целое бессмертие в его цветущем возрасте мужчины тридцати восьми лет, который внешне выглядел краснорожим ефрейтором с белыми выпученными глазами, — да ему никто и не подносил зеркало, даже когда его брили. Впрочем, мимика у него сохранилась, его как бы ошпаренное лицо застыло в удущье, он раз навсегда остановился, в ужасе раскрыв глаза, и бритве оказывалось целым делом для сестричек, дежурящих

изолированно около него по суткам. Они на него и не глядели, шел большой эксперимент сохранения жизни при помощи искусственных железных стучающих каждую секунду легких — а уши у больного работали на полную мощность, он слышал все и думал бог весть что. По крайней мере, можно даже было включить ему его собственный голос при помощи особого затыкания трубочки, но когда ему затыкали эту трубочку, он ужасно ругался матом, а заткнуть трубочку обычно можно было быстрее всего пальцем, и палец сам собой отскакивал при том потоке площадной ругани, который лился из неживого рта, сопровождаемый стуком и свистом дыхания. Иногда, раз в год, его приезжала навестить жена с дочерью из Ленинграда, и она чаще всего слушала его мертвую ругань и плакала. Жена привозила гостинчик, он его ел, жена брила мужа, рассказывала о родне и тех событиях, которые произошли за год, и, возможно, он требовал его добить, мало ли. Жена плакала и по обычному ритуалу спрашивала врачей при муже, когда он поправится, а врачей была целая команда: например, кореянка Хван, у которой уже была предзащита кандидатской диссертации на материале соседней палаты, где лежало четверо ее больных энцефалитом, четыре женщины с плохим будущим, затем в команде был старичок профессор, который впал в отроческие годы и обязательно, осматривая каждую лежащую женщину, клал руку ей на лобок, а осматривал он также другую палату, где находилась другая четверка, теперь уже юных девушек, сраженных полиомиелитом. Он их таким образом как бы ободрял, но они ведь ничего не чувствовали, бедняги, они только иногда плакали, одна за другой. Вдруг заплачет навзрыд, и нянечка уже тяжело подымается с табуретки и идет за судном, квачом и кувшином мыть, убирать и перестилать. Чистота была в этой больнице, опорном пункте института неврологии, чистота и порядок, а энцефалитные бродили как тени и заходили к живому трупу на порог, ужасаясь и отступая перед взглядом вытарашенных в одну точку глаз, эти же энцефалитные сжижывали в палате неподвижных девушек, где рассказывались анекдоты нежными голосками и лежали на подушках головы, в ангельском чине находящиеся, с нимбом волос по наволочкам. А то энцефалитные ходили и к малышам, в самую веселую палату, где бегали, кружась, дети с потерянными движениями рук, а за ними припрыгивали дети-инвалидики, волоча

ножку. Туда же от своего мечтателя о собственном убийстве переходила большая команда врачей, там летали шуточки, там царила надежда на лучшее будущее, а бывший врач оставался один на своем высоком медицинском посту, на ложе, и его даже со временем перестали спрашивать о самочувствии, избегали затыкать трубочку, чтобы не слышать свистящий мат. Может быть, кто-нибудь, подождав подольше, услышал бы и просьбы, и плач, а затем и мысли находящегося в чисто духовном мире существа, не ощущающего своего тела, боли, никаких тяжестей, а просто вселенскую тоску не свободного исчезнуть человека, томление бессмертной как бы души. Но никто на это не шел, да и мысли у него были одни и те же, дайте умереть, падлы, суки, и так далее до свистящего крика, вырубите кто-нибудь аппарат, падлы, и так далее. Разумеется, все это было до первой большой аварии в электросети, но врачи на этот случай имели и автономное электропитание, ведь сам факт существования такого пациента был победой медицины над гибелью человека, да и не один он находился на искусственном дыхании, рядом были и другие больные, в том числе и умирающие дети. Раздавались голоса нянечек, что Евстифеева разбаловали, полежал бы в общей свалке, где аппарат на вес золота, то бы боролся за жизнь, за глоточек воздуха, как все грешные. Вот вам и задача о смысле жизни, как говорится.



Игорь Померанцев

ОТДЫХ НА ЮГЕ

В НОВЫХ ТАПОЧКАХ Цель дня – покупка тапочек. Старые, швейцарские, я не взял. Они свое отшлепали. Присматриваюсь к витринам. Наконец, выбираю. С виду байковые, очень домашние, но на коже и довольно крепкие. Пуловер на мне из тонкой шерсти, правда джинсы, хоть и черные, сразу роняют меня в глазах местных приказчиков. Здесь принято одеваться по-бандитски: с иголки. Но что возьмешь с чужака? Разве что деньги. Встал поздно, чтобы переспать неродные шумы гостиницы. Переспал, но как-то вымучил себя. Оделся кое-как, обулся на босу ногу, захватил полотенце. Душ общий, в коридоре. В душевой разулся и сразу почувствовал лед изразцов. Сейчас ранняя весна, а здесь все рассчитано на жару. Даже есть магазин "Мрамор", где продают мраморные плитки. Пятками вспомнил, как первый раз восьмилетним мальчиком попал в больницу. Как из приемного покоя повели в сиротливую ванную. Нет, сперва постригли наголо, а в ванной велели раздеться и выкупаться. Кирпич хозяйственного мыла выскальзывал из рук. Дезинфекция разъедала глаза. После дали рвань и огромные тапки. Все разом смыли: мамины поцелуи, бабушкины шипки, папины затрещины. Мокрого, гололобого вывернули из байковых объятий прямо на цементное дно. И хотя мама еще ждала в приемном покое, чтобы напоследок поцеловать и украдкой сунуть мандаринку, детство тенькнуло, расколосось, разбилось вдребезги. После этого уже не страшна незнакомая женщина, чужая речь, орган в крематории. Я сижу в новых тапочках в патио – внутреннем дворе гостиницы – с бокалом бренди "Ветерано". Из пересохшего рта Андалусии легко-легко тянет горьковатой цедрой.

В марте апельсиновые деревья Андалусии гнутся долу под бременем плодов. Это дикие апельсины. Иногда их собирают прямо с тротуара в капроновые мешки бутылочного цвета и увозят за город. Там из них давят джем. Просто так есть их невозможно: слишком кислые.

В сиесту я зашел к Хуаните, моложавой домработнице, с которой я познакомился в кино. По вечерам я обычно хожу в кино. Наверстываю упущенное в Лондоне. Смотрю все подряд. Мне это надо по службе. Да и сын любит потолковать о кино. Хуанита провела меня в свою каморку и тотчас стала раздеваться, даже поспешней, чем мне хотелось. Она разделась до пояса, оставшись в тяжелой юбке, вроде портьеры, и встала в углу, прижав к груди четыре апельсина. Я ценю дружбу с Хуанитой, хоть она и придурковата, насколько я могу судить. Южное наречье я понимаю через пень колоду. Но при здешнем консерватизме только придурковатая знает ся с чужаками. Композиция с апельсинами произвела на меня впечатление сильнейшее. "Бывают же, — думал я, — целые племена с врожденным чувством артистизма. Взять хотя бы придурковатую Хуаниту. Откуда это в ней, если не от рождения? Ее грудь тянется к апельсинам, как тянулась к ним грудь ее матери, прама тери..."

Вечером я гулял в зеленоватой хмельной дымке по Юдерии, Еврейскому кварталу, и набрел на дешевенькую винную лавку. Взял мутноватую монтийю, которую здесь пьют из грациозных пробирок, похожих на балерину с сомкнутыми над головой руками. На стене висел стенд с дюжиной приклепленных открыток-репродукций местного художника начала века. На одной из выцветших открыток мерцала полуобнаженная женская фигура с четырьмя апельсинами, прижатыми к груди.

РЕПЕТИЦИЯ РАЗГОВОРА Летом в Лондон приезжает друг, и надо бы отрепетировать наш разговор. Высказав наперед, поймешь, стоит ли высказывать. Вот что я хочу ему сказать. Твои стихи в духе времени, и тебе повезло, что нынешнее время если и не зрелое, то вполне взрослое. Твои стихи марафонские, с широкой панорамой. Кажется, по чувству времени у тебя только один соперник: поэт-конькобежец, скользящий не

так мощно, но зато элегантней, чем ты. Сейчас твое дыхание громче. Но неблагодарные потомки почему-то больше ценят элегантность. Мой друг ты, а не он, и я хочу, чтобы тебе бежало легко. Я всякого крупного художника есть образ, который рождается помимо задач и усилий. Это может быть косой шафрановый луч, бьющий с того света, или мокрый инфантильный рот, чей отпечаток навсегда остается на щеке. У тебя пока образа нет. Есть тема: обличение советского режима. Так бы писал социалистический Пруст. Но тема не рождает образа. Оптика обличения того, что уже обличено и изобличено, не интересна, как бы тонко ее ни настраивали. Есть книга — "Архипелаг ГУЛАГ", — в которой объект обличения равен пафосу обличения. Но из этого пафоса рождается образ: красота и уродство сопротивления. Единственный твой шедевр — это поэма, где ты описываешь картины современного художника, который не обличает, а запечатлевает, зла не держит, под ложечку не бьет. Вот это достойная поэма оптика. Есть у тебя еще одна тема — дружбы. Но и она принесена в жертву обличению. Ты что, дружишь, чтобы сообща, взявшись за руки, проклинать советскую власть? Трогательна твоя верность школьному монтажу: пионер за пионером делает шаг вперед и декламирует четверостишие, а после возвращается в шеренгу. Твои четверостишья тоже в шортах, но с волосатыми ногами и лопающейся ширинкой. Один раз — это смешно, но уже во второй — тягостно. Ну, обманули тебя. Жестоко обманули. Но разве только тебя? И разве жесточе других? Обличитель всегда в проигрыше, особенно когда прав. Не умом, так хитростью выйди на другую оптику: подворуй, подсмотри, подсуетись. Мы все это делаем. Нет, не буду этого говорить. Разве можно принести дружбу в жертву правде?! Что ты там мычишь, Хуанита?

ВО ЧРЕВЕ БУТЫЛИ

Эту ошибку я уже когда-то совершил. В скромном турецком ресторане в Лондоне сказал ресторатору, что его ресторан из лучших в столице. Я не особенно лукавил. Лучше турок мяса никто не жарит. Кто знает толк в крови, мясо чувствует. Турок ухмыльнулся, отзвякал "сэнкью" и, кажется, перестал меня уважать. Так порой негры перестают уважать своих белых жен, за то что те вышли за них замуж. Теперь я сказал ресторатору "Сан Мигэль", что его тавер-

на — из лучших в Европе. Дело не только в кухне, а в залах, залах, подзалах, рассованных как платки фокусника. Что ни угол — укромный. Да, не только в платках, но и в стеклянной крыше. Зеленоватый свет падает сверху, но не разбивается, а чокается с коренастыми красными рюмками, с блестящими глазами андалусийцев. Звон стоит божественный. Под него во чреве огромной бутылки два с лишним десятка людей честно работают кадыками. Господи, неужели и этот перестанет меня уважать?

СВИДАНИЕ

От наждачных голосов андалусийских музыкантов никуда не денешься. Каждый день по дороге к Хуаните я прохожу мимо Школы танцев. Судя по гитарам, хлопкам, восклицаниям "Олэ!", это школа одного танца — фламенко. Встав на цыпочки, можно увидеть в решетчатое окно лодыжки и голени подростков, пятна пота на полу. Настоящий пот — это не запах, а капли, струйки, лужицы. К полудню взрослые куда-то исчезают из города, и их сменяют стайки школьников. Особенно много четырнадцатилетних девочек. В руках у них вместо портфелей разноцветные папки, стянутые по углам резинками. В эту пору в этом месте — самая высокая концентрация красоты на земле. Жаль, рядом со мной нет сына. Недаром я хотел когда-то отдать его в католическую школу. Правда, тогда хотел по бедности. Умные люди, тоже из эмигрантов, сказали: "Католики лучше учат. Там порядок. Веди туда". Я и привел. В пустом коридоре школы горько плакала стеариновыми слезами Мария в пластмассовых кружевах, и меня едва не стошнило. Бедность католичеству не к лицу. Это протестанты обязаны быть бедными. Больше всего я боялся вопроса о вероисповедании. Раз уж привел ребенка в католическую школу, то чего спрашивать. Но директриса в конце концов спросила прямо, и я прямо ответил. Лучше б отцом моего сына был не я, а какой-нибудь московский или ленинградский стилига. Многие из этих верных западников подались сейчас в католичество. Ходят себе улицами обеих столиц почтенные пятидесятипятилетние католики.

Вино уже на самом доньшке. Придурковатая танцует под кассету. В полумраке каморки она особенно хороша. Я поднимаю ее голую руку и нюхаю подмышку. Она пахнет

монтией. А моя? Сколько залежей винной руды в моем теле. Любовь — это капли, струйки, лужицы. Неужели эта руда не пропитала тела? У Хуаниты такое не спросить. У нас на двоих всего полторы сотни слов. Сиеста кончается. Пора расходиться.

ВЕЧЕРОМ

Раздавленное мясо апельсина на тротуаре. Поцелуи без наркоза, сброшенные наобум босоножки, скрип, чвак. Убийство на ночной сцене театра. Труп завернут в занавес гнилостного цвета. Режиссер на репетиции раздувает ноздри. Труп оживает на премьере. Жандармы. Второстепенные актеры — главные действующие преступники. Снова мотив апельсинов: в театральных факелах, оранжевых робах поливальщиков ночных улиц. Вишневый рот. Лопаются железы ревности. Вскрыты вены. Раскрыты комплоты. Слава Богу, это только для глаз, мимо ушей. Испанское кино. Вечер нет хуже прочих.

В ПОЛДЕНЬ

За полчаса в баре прошла целая жизнь. Сначала появилась разносчица лотерейных билетов. В лотерею здесь играют все. Наверное, это безболезненный способ утолить страсть к азартным играм. Но эта разносчица оказалась незрячей. Как она торгует, одному Богу ведомо. Ладно, допустим, монеты различает на ощупь. А купюры? Или чувствует цвет подушечками? Но сама идея мне по душе: счастье слепо, оно выбирает тебя, а не ты его. Едва ушла разносчица, как ее сменил чистильщик обуви. Примостился у ног пожилого клерка и пошел локтями работать. Закончив, одним прыжком перелетел ко мне. Клерк, видимо, решил, что мы таким образом представлены друг другу. "Дойч?" — спросил он. Из вежливости я ответил и тут же был наказан: "Тоже русский", — сказал он, показывая на цыгана-чистильщика. Я лениво согласился: не оставлять же цыгана безродным. И вновь был наказан: новаяявленный соплеменник грабанул меня на пятьсот песето.

ХУАНИТА ПЛЕТЕТ ИНТРИГУ

Наивные люди с чужеземцами говорят громко и внятно: "Вокзал! Вокзал! Понимаете?" Те

почему-то не понимают. Я бывал и местным, и приезжим, так что говорю, не повышая голоса. В моем мозгу горит электронное табло, куда из глубины университетских лет всплывают латинские слова. Я говорю корнями, без окончаний, и не обижаюсь, когда меня не понимают. Хуанита же любит погорланить. Теперь у нее новая тема: она хочет выйти за меня замуж. Я говорю, что не понимаю — но энтьендо. Она орет: "Пор кве? Я тебя прекрасно понимаю!". "Ты умница, — парирую я, — интеллигенто". Диалог продолжается всю сиесту с перерывами на объятия. Я даже обнимаю ее как можно дольше, лишь бы оттянуть объяснение. Но, постовав всласть, она принимается за свое. Более того, чем продолжительней объятия, тем сильнее она хочет за меня замуж. Кажется, это называется порочный циркус. "Марьяж! — кричит она. — Пор кве?" Я не выдерживаю и тоже перехожу на крик: "Но! Но марьяж!". "Пор кве?" Я ору уже во всю глотку: "Но дос синьорас! Хватит с меня другой придурковатой, в Лондоне! Энтьенде?"

ПЯТЬ ПЕСЕТО НА ЧАЙ Бармен мелком пишет на деревянной стойке 70 и 120. Семьдесят я медленно пью: это сухая монтиья. Сто двадцать я жую: это кусочки спрутятины, щупальце осьминога. Когда я расплачусь, оставив на чай пять песето, бармен буркнет: "Гарсиас!". Запись в столбик, мелок, решительный жест руки с тряпкой. Откуда это? Из школы. Но бармена я не боюсь. И если бы боялся, ничего трагичного в этом бы не было. Трагичное — в зазоре, в несовпадении. Скажем, днем ты служащий, а вечером с семьей. И ничего общего между днем и вечером нет. Текст, который пишется от "я", не трагичен. Литературные "он", "она" могут умереть в конце, но литературное "я" в конце откланивается. Ни разрыва, ни обрыва. Что в конце концов "я" умрет за пределами обложки, неважно. Как неважно и то, что сочинитель тоже умрет или уже умер. Трагизм не в самом факте смерти. В быту смерть почти идиллична. Я думаю над этим не потому, что меня занимает природа трагичного. Писательская стратегия корыстна. Трагедию любят. Вместе с ней можно воспарить, а после самостоятельно приземлиться. Но при всей корысти, несмотря на пылкое желание быть любимым, я выбираю "я". Счастье любить я предпочитаю счастью быть любимым.

Бармен учительским жестом стирает 70 и 120. Их больше нет. "Гарсиас!"

ОШИБКА Я предложил Хуаните встретиться ее возле хозяйского особняка в два пополудни. Она была сыта и лишила меня удовольствия есть вместе. Я обгладывал креветки, запеченные в тесте, жадно поглядывая на белое вино. Хуанита скучала. Я нарочно привел Хуаниту в свой любимый бар, где обедают дорожные рабочие. Руки у них после отбойных молотков дрожат, и когда они подносят монтию к губам, она выплескивается через край. Станным образом в городе я чувствую себя покровителем Хуаниты. Ее уважают благодаря мне.

Вопреки традиции мы отправились не к ней, а ко мне в гостиницу. Не буду описывать красноречивого взгляда черноокой консьержки. Хуанита ушла на работу спустя два с лишним часа. Я проводил ее и тотчас вернулся. Со спинки стула свисали мои рубахи, вывернутые наизнанку. Постель была разворошена до крайности: салатная простынь, розовое тафтяное покрывало, малиновое пушистое одеяло смешались в одну кучу. Признаюсь, я зарылся лицом и пустил слезу. Жизнь делала то, чего я не ожидал от нее: радовала.

О ТОМ ЖЕ Она примеряет мои рубахи
мшистого цвета.
Я в жизни редко терплю крахи.
К чему мне это?

Но ради трюмо во мшистых подтеках,
в подтеках меда,
пускай консьержка посмотрит строго
в момент ухода.

ТРАГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В полдень, когда я выходил из гостиницы, консьержка протянула мне конверт. Марки на нем не было, и я догадался, что доставлен конверт нарочным. Я присел и прочел прямо в патио. Вот что там было сказано: "Русский, когда ты прочтешь, меня уже нет. Вини себя. Хуани-

та". Я не торопился понимать. "Не может быть, — оттягивал я. — Она ни читать, ни писать не умеет". Но сердце подсказывало: это каракули — ее. Они не написаны, а нарисованы. "Что эта придурковатая выкинула?" — продолжал я себя обманывать. Встал, пошел в бар, спросил орухо. Бармен долго не наливал, решив, что я перепутал слова "орухо" и "риоха". До сиесты бродил под палящим солнцем, и к трем был уже у дверей каморки. Словно никакой записки и не было. Но сколько я ни звонил, двери не открывались. Значит, все-таки была. Почти бегом я направился к хозяевам Хуаниты. Там тоже долго не открывали, но в конце концов появился разморенный хозяин. Я знал, что он адвокат, и что у него жена и трое детей, за которыми Хуанита присматривает. Извинившись, я спросил о Хуаните. Он подумал и ответил: "Она уехала. В Барселону". В первый раз за три часа я вздохнул полной грудью. "Глупо сделала, — продолжал он. — Знаете, как в Каталонии к нам относятся?". "Знаю, — почти механически ответил я, — как к цыганам". Он впервые с любопытством посмотрел на меня. Я спросил, не знает ли он случайно нового адреса Хуаниты. Он достал из кармана скомканную бумажку и протянул ее мне. Адрес был нарисован теми же каракулями. Значит, для меня оставила. Я поблагодарил адвоката и откланялся.

ВОЗДУШНЫЕ ЧАСЫ На гостиничном бланке я рисую письмо Хуаните. Слева герб с названием гостиницы, справа адрес, который завтра уже не будет моим. Я рисую свой остров и прямо в центре кружок. В кружок вписываю слово "Лондон". Так ей легче будет понять. Поодаль рисую ее полуостров и кружочек со словом "Барселона". Соединяю оба кружка дугой и врисовываю в нее самолет, хвостом к Лондону, носом к Барселоне. С края рисую календарь. На нем месяц март и жирными цифрами будущий год. Поймет. Рисунки она понимает. Я хочу приписать еще два слова к рисунку, но не делаю этого. Однажды я лежал на ней, и мы дышали друг другу в рот. Я назвал это про себя "воздушными часами". Перевести с русского даже не пытался. Ладно. Пусть этот вклад в мировую любовь так и останется тайной.



Белла Улановская

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАШГАР

Мы ходили походом к восточным горам.
Шицзин

На полностью выгоревшей земле, где, казалось бы, долгое время ничего не может вырасти, иногда можно увидеть странные грибы – прикопченные шляпки на тонких цепких ножках. На их долю выпало жить в местах гибельных, в условиях немислимых. Эти черненькие несъедобные грибы могут произрастать только на кострищах и по гарям, к другому, благополучному существованию они просто не приспособлены. Поразительная судьба. Целое поколение углелюбивых головешек, выросшее на горькой земле катастрофы, подготавливает почву для последующей жизни.

Мы предприняли эту попытку биографии, не зная, удастся ли довести ее до конца, до предрассветного холода кашгарской городской стены. Мы специально забежали вперед и сказали последнее слово – утро синьцзянской казни, однако писать об этом – все равно, что выращивать помидоры на Севере: мы копаем грядки, высаживаем рассаду, все лето прилежно поливаем свой огород, вот отдельные побеги не прижились и поникли, зато остальные пышно кустятся, дружно цветут, каждый вечер гремят ведра, вьются комары, кричит дергач на ближнем лугу, образуется завязь, мы даже обрываем лишние цветы, жалко, но хватит цвести – надо и честь знать, но уже ясно, что лето не удалось, что даже если и настанут необыкновенные

дни, помидорам не нагнать упущенного, а еще заморозки, всегда могут случиться заморозки, давно висят жалкие зеленые плоды, уже месяц как они не растут, и вот уже все соседи снимают этих начавших подгнивать недоносков, пора и нам собрать эту жалкую поросль — предвидели ли мы неудачное лето, покупая семена и размечая огород? Могли предположить, но надеялись на благоприятные условия — сорт был первоклассный, участок превосходный. Вот только лето подкачало. Будем ли мы выращивать томаты на следующий год? — Непременно.

И вот мы, отважные огородники, берем этих каких-никаких, а все же два десятка зеленых заморышей, насухо вытираем, запихиваем в большой валенок и закидываем на печь. Они там созревают в темноте, розовеют, наливаются и неужели растут? — а в один прекрасный день, когда и думать-то про них забыли, под самые октябрьские, кто-то про них вспоминает, и они снова являются на свет божий, как первый весенний фрукт.

Но честное слово, мы не виноваты, что они такие маленькие и бледные, заложено в них было много и сделано все, что в наших силах.

Возможно, я тоже пропустила главное свое время, и теперь наверстать мне будет трудно. Однако мне кажется, что сама судьба столкнула меня с историей и подвигом знаменитой Татьяны Левиной. Да я просто не имею права теперь бросить начатое, теперь, когда у меня сосредоточились все материалы о ней, теперь, когда я знаю и догадываюсь о ней больше, чем кто-либо другой, я не имею права прервать свои занятия. Я медлила с началом работы, потому что мне хотелось передать свои материалы кому-нибудь другому — пусть напишет лучше меня, пусть напишет роман, повесть, пусть просто издаст документы — но ведь некому передать, некому! Некому даже рассказать о ней. Не дослушав, меня перебивают, а, ты все еще носишься с этим, да не надоело тебе, и так уже оскомины, неужели мало всей этой шумихи?

Может, изменить имя героини? Тогда можно придумать диалоги, описать путешествия, какими они могли быть, чего стоит, например, какая-нибудь первая любовь, да дайте мне только волю, да я точно знаю, как все было.

Свежезацементированная дорожка "забацал Тютюшкин"

— нацарапано навеки, нежная рука приподнимает за подбородок лицо героини; от утраты расстояния какой страшный бесцветный глаз, важная минута, а тут представился аквариум со стеклянной перегородкой, тычутся две рыбы морды, тарашат друг в друга странно увеличенные водяные глаза, от смущения героиня опускает веки, нельзя нарушать стройность значительной на всю жизнь минуты, и вот героиня возвращается домой, ее ошеломленно-счастливое лицо сохраняется всю ночь, утром она притворяется, что спит; наконец все уходит, она тоже плетется к морю, героиня плавает плохо, но заплывает всегда очень далеко; вот сейчас ее почти не видно, где-то там она пробует задеть локтем собственные губы — похоже ли? нет, не похоже, но пора возвращаться. Чтобы уберечь свое лицо, на котором снова и снова разыгрывается вчерашняя минута, она переворачивается на спину и плывет к берегу, из воды она выходит пятясь, все еще лицом к морю.

А чего стоит эта подготовка к первому сентября, ни с чем не сравнимое покалывание в голых ногах от шерстяного форменного платья и радостная покорная готовность: да, в новом году я буду лучше учиться, да, буду помогать, уважать.

Весело устроить скандал на одной респектабельной свадьбе, как быстро незнакомый захудалый жених, танцующий с ней, начал прижимать ее к себе все крепче, они танцуют все медленнее, вот из комнаты уже почти все ушли, надоевший спутник, который привел ее сюда, не знает, что делать, вдруг он входит, зажигает верхний свет, отзывает жениха, выводит из комнаты. Гости столпились в коридоре, там на антресолях плачет некрасивая опухшая невеста. Но жених берет нашу героиню за руку, ведет в комнату, обнимает, и они снова целуются посреди комнаты. Так всем и надо. За что-то она мстит, сама не знает, за что.

Эта история не вошла, конечно, в ее канонические биографии, но благонравные романисты наши обожают такие вещи. Хотя в последнее время что-то странное происходит с ее именем. Пока я собирала все новые и новые материалы о жизни Татьяны Левиной, упоминать о ней стало не принято. Имя ее все реже появлялось в газетах, пока полностью не исчезло.

Не будем мы изменять имени героини.

А уж и наворочено вокруг ее имени, будь здоров! Одни родители чего стоят с их выступлениями и встречами с пио-

нерами! Учитесь хорошо, чтобы быть похожими на Татьяну Левину, воспитывайте в себе мужество и героизм; детишки плачут, когда ее ведут по кашгарским улицам, детишки вскидывают гордо головы, их глаза загораются, у всех как одного развеваются по ветру рыжие волосы, у всех на шее веревочная петля. (Этот рослый рыжий козленок, которого ведут по городу на веревке, — ни одного еврейского лица, ни одного русского лица, ни одного европейского лица).

Я все время забегая вперед, чтобы добраться до конца — надо не один пуд соли съесть со своей героиней, но я верю, что мы с ней дойдем до конца с честью. Я все время мучительно возвращаюсь (хотя и забегая вперед) к мысли о ее последнем часе. Ни одного родного лица — думала ли она об этом?

Да и что это за стремление обставить торжественные минуты дорогими лицами! Мы их собираем на свадьбу, дни рождения, ответственные выступления, прощания с родиной. Быть может, нам нужны хроникеры?

Кого она хотела видеть свидетелями своего последнего часа?

И вот теперь я, минуя узы крови, почему-то оказываюсь этим родным лицом.

Значит, именно мне суждено на секунду выставить свою рожу в этой жестковолосой враждебной толпе? Возможно, моя героиня отвернулась бы от меня. Но сейчас бессмысленно говорить об этом, это все равно что толковать — хотел бы Достоевский или кто другой таких истолкователей — да восстань он из гроба, приди в музей своего имени, да какой железной ногой шуганул бы наш писатель всех нас, собравшихся во имя его, да пройди он по квартире, которую мы ему с любовью оборудовали, краска стыда заливает наши лица, да кто мы, бедные самозванцы, да прочитай он, чего доброго, все, что мы про него написали, или затеряйся он, ох, больше сил нет, в нашу экскурсию...

Все мы бедные самозванцы, а кого тогда слушать — дочку Любу, мать Зои и Шуры, но только послушать, что они обычно плетут — уши вянут.

Итак, что требуется от бедного хроникера-самозванца? Немного усердия и расторопность — все же надо много куда успеть и стараться передать все, что известно о событиях, как можно точнее, я не говорю лучше, тут начинается область лишних соцветий.

Зверства в Корее

Сорок пять черных передников, шерстяных, штапельных и сатиновых, благонаравно разместились крыло к крылу, четыре яруса. Сатиновые читать не умели, штапельные — их было большинство — справлялись кое-как, зато шерстяные шпарили, не разбирая смысла.

Когда фотографирование было закончено, верхние — это были как на подбор рослые двоечницы без воротничков, прыгнули со скамейки, принесенной из кабинета пения, нижние поднялись с липкого вымазанного темно-красной мастикой пола, из-за стульев выбрался еще один рядок, он получится по подбородок закрытый действующими лицами главного яруса, последней поднялась усаженная по правую руку от учительницы Сироткиной генеральская дочка Сталинка, на ее рукаве красовалась белая повязка с малиновым крестом из шляпного фетра, которую ей сшила мать. Многие мечтали подружиться с ней, считали, что она даже очень хорошенькая, рассказывали, что дома у них очень красиво, есть всякие интересные германские штучки, по комнатам большой квартиры ходит страшная собака, но она детей не трогает и даже однажды прокатила Сталинку в санках по Баскову, все это видела, будто бы, длинная Кураева, которая бывала у них и видела самого отца, генерала эм гэ-бэ, и, хотя было смешно смотреть, как она шлепает губами, выговаривая правильно название, никто не отвлекался.

— А если попросить, как ты думаешь, позволит он разок прокатиться?

— Не знаю, Я, например, каталась сколько раз.

На фотографировании длинная Кураева стояла позади сталинкиного стула и, когда приказывали не двигаться, слышно было, как она, оттопырив нижнюю губу, отчаянно дует вверх на волосину, выбившуюся из косицы.

Обязанности санитарки давали право осмотреть пальцы, шею, ухо, воротничок. Сталинка любила совать нос и в портфели. Все ли там обернуто калькой, и нет ли чего постороннего. Интерес к портфелям начался у нее после того, как у одного штапельного передника была обнаружена в парте целая жилая комната с двуспальной кроватью, зеркальным шкафом, перегородками из открыток и капитальной стеной из красивой корочки "Белая ночь".

Что стало с отнятым имуществом, неизвестно, но Сталинке очень хотелось найти еще одну такую комнатку. Но теперь все боялись приносить в школу свои богатства, а может, повзрослели.

Жилье было разрушено, разъято, позорно разложено на учительском столе и потом заперто до тех пор, пока в школу не придут родители.

Все молча построились в затылок и бесшумно направились прочь из парадного зала. Плату за карточки приносить завтра, самая дорогая — коричневая на картоне.

Проснулся я и слышу: собаки тревожно лают...

Дальше надо было писать самим.

Образцовый неизменный почерк учительницы Сироткиной на черной доске, коричневые доски висят только в старших классах и наводят на мысль о чем-то добротном, уважаемом, вроде благородных фотографий сепия, не цветных, какая гадость, а более подходящих нашей знаменитой школе, бывшей женской гимназии, где училась и закончила с золотой медалью жена — друг и верный помощник. Мы ненавидим все пестрое, только черные и коричневые ленты закручиваются на ночь на спинки кроватей, концы их потом выдают боящихся утюга, но это ничто по сравнению с ненавистным голубым или, чего доброго, красным бантом, его неосмотрительную хозяйку могут даже поколотить.

Предложение заканчивается точками. Точек ровно три. Первая точка обыкновенная, ничего особенного, пусть лают, повернись на другой бок и спи, но к ней подседа надоедливая вторая, вот они повернулись друг к другу, неуместно болтают, если бы не третья, они, чего доброго, сговорились бы выкинуть что-нибудь неподобающее, станцевать, например, вульгарные балаболки, но третья зовет их вперед, вдаль, и они перестраиваются в затылок и тащатся куда-то следом за ней, вот ее уже почти не видно, цепь огней в переулке, третий еще можно как-то различить, дальше мрак, метель, волки.

Конечно, все напишут про волка, как он прибежал из леса, подобрался к теплому хлеву, где спали овцы, разрыл соломенную крышу, спрыгнул вниз и потащил теплового ягненка. Дядька вскочил, сдернул с гвоздя ружье, накинуд ватник и выскочил на крыльцо. Он увидел белое под луной поле, тем-

ный лес вдали и черную точку, которая перемещалась в сторону леса. Он выстрелил вслед, выругался, возвратился в сени, зажег керосиновую лампу и пошел в хлев. Овцы в клетушке тесно сдвинулись и дрожали в углу, кровавый след тянулся по припорошенному снегом полу (надо бы забить щели). Он вынул из кармана краюху хлеба с солью, завалилась со вчерашнего дня, открыл дверцу низкой перегородки и вошел к овцам. Они шарахнулись прочь, затопав мелкими копытцами по промерзшему настилу. В узком оконце блестело обросшее инеем стекло. Где-то на краю деревни продолжали лаять собаки.

Татьяна Левина оглянулась. Все писали. Все прислушивались к лаю собак.

Страшно проснуться ночью на Басковом, и на Короленко, и на Артиллерийском, и на Саперном, где живет кроткая Люся Котова, самый воспитанный, самый интеллигентный, но почему-то шелковый передник, ее воспитывали дедушка и бабушка, она зовет их папой и мамой и ничего не знает про своих настоящих родителей, что с ними случилось, никто не знал, но все знали, что об этом спрашивать Люсю нельзя. Вот она сидит на первой парте в золотых очках и пишет про овец.

По ночам было слышно, как отрывисто лаяли овчарки, в безлюдных переулках завывал ветер.

— Пап, на кого они лают? Я боюсь.

— Повернись на бок и спи.

— А куда они не прибегут?

Откуда-то издалека послышалось строевое солдатское пение. Это наши солдаты, они охраняют наш сон, маршировали из некрасовской бани.

Напишу я что-нибудь смелое и героическое, — решила Татьяна Левина.

Вот деверсант. Вот он спустился ночью на парашюте, вот оседает его белый серебристый шар, вот он убегает по убранному картофельному полю от того противного дядьки с ружьем. Хвастливый дядька так и писал: "Я арестовал деверсанта и утром сдал его в мелицию".

После уроков был воспитательский час. Учительница Сироткина рассказывала о зверствах американских империалистов в Корее. Сатиновые, штапельные, шерстяные и один шелковый замерли в сладком ужасе и негодовании. Американцы жгли, загоняли иголки под ногти, отрезали языки и кидали напалм. Потом они сбросили на Корею атомную бомбу.

Звонка с уроков еще не было, а построение уже было произведено и первый "бэ" чинно спускался по широкой лестнице. Идти нужно было тихо, "чтобы нас никто не слышал", вдоль стенки, затылок в затылок, но в то же время стены не касаться и останавливаться по сигналу на каждой лестничной площадке.

Наконец благонравные девицы добрались до гардероба и выстроились у вольерной решетки раздевалки. Учительницу окружили родители. Она говорила с ними, то и дело оглядываясь. Потом все оделись и разошлись. Осталась только сталинка на мать, председатель родительского комитета школы.

Татьяна Левина подошла ближе, долго не решалась спросить и наконец сказала: "Разве американцы применяли атомную бомбу в Корее?"

– Я бы хотела посмотреть отметки Сталины, – сказала в это время генеральша.

В ожидании матери толстая, уже укутанная Сталинка околавивалась в полутемном вестибюле. Прозвенел звонок с урока. Сверху нарастал шум. Сталинка сделала вид, что читает огромную мемориальную доску с золотыми буквами. Татьяна Левина все еще топталась в недоумении, тут налетели сверху старшие, смелые, отчаянные второклассницы, может, даже из третьего, увидели Сталинку, закричали весело – вот она, вот она! ябеда! – и бросились к ней. Она стрельнула глазами наверх, мамаша видно не было, и вылетела на улицу, беги, Сталинка. Все кинулись за ней. Второй "а" гнался за Сталинкой по Баскову, без пальто, швыряя ей под ноги портфели. Она пробежала вдоль школы и махнула через дорогу – жила она напротив. В это время автобус заворачивал в переулок, все закричали ей, чтобы она остановилась, но она уже была у своей подворотни.

На следующее утро Татьяна Левина брела в школу, волоча тяжелый портфель. Она опоздала. Весь Басков был уже пуст. Под окнами вторых этажей висели траурные флаги. Был день памяти Кирова.

Она шла вдоль длинной кирпичной казармы, думала о Кирове, мальчик из Уржума, заглядывала в окна. Через неплотно запертые ворота, у которых стоял часовой, виден был узкий двор, в глубине его она увидела пушку. Часовой посмотрел ей вслед и сказал: "Ножки как у роля". Она удивилась, откуда он знает, что ее учат музыке.

Занятий музыкой она не любила. Кроме отвращения от самих уроков и страха предстоящих концертов, обидно было чувствовать проходящую без нее жизнь. Представлялось, что мир делится на тех, кто должен заниматься музыкой, и кто обходится без нее. Ей казалось, что почти все из ее класса, со всех знакомых дворов и прочитанных книг, были счастливее и свободнее ее. Раз настоящая, грубая, смелая жизнь проходит без нее, она все жаднее вчитывается в описания жизни. Даже в пионерском лагере, несмотря на все просьбы, она никогда не была. Чтение стало запойным ("дыши свежим воздухом" — говорили ей, когда она выходила из дому в музыкальную школу, вся дорога до следующего подъезда занимала три вдоха).

— Я человек конченный, — думала часто Татьяна Левина, — благонравная жизнь так и протащится нотной папкой по пыли (ей даже нравилось мучить себя этим, нарочно волоча почти по земле ненавистную папку).

Однажды она вдруг брякнула на перемене ужасную вещь, за что всем классом ей был объявлен бойкот. Она почему-то наврала, что ее отцом был писатель Гайдар. Писатель Гайдар погиб за несколько лет до рождения Татьяны Левиной, и всего первого "бэ". Но никто из ее одноклассниц подсчетами заниматься не стал, они просто молча отошли.

Это странный случай, и тут есть о чем подумать. Заменив собственную жизнь вычитанной, она вломилась прямо в художественную ткань, но, чтобы как-то закрепить переход в эти шаткие области, пришлось обзавестись надежной отцовской рукой.

Да как же язык у нее повернулся сказать такое при живых родителях! Так иные охотничьи собачонки, бросив своих верных хозяев, вдруг уходят с незнакомым гостем, почуяв в нем настоящего охотника.

Около школы уже почти никого не было. Уроки начались. Изо всех сил спешили к дверям незнакомая хромая девочка с матерью. Мать несла ее портфель. Татьяна Левина тоже, было, побежала, но остановилась, постеснявшись их обогнать, и пошла сзади, жадно разглядывая бедную девочку. Девочка была в шароварах, заправленных в розовые от школьной мастики валенки. Куда они идут, директор Сурепка велела всем ходить в ботинках.

— Не ходите, вас не пустят! — крикнула Татьяна Левина, догоняя их. — У вас валенки.

— Нас пустят, — строго сказала мать некрасивой девочки, — нам разрешили.

Никто из их класса Сурепку никогда не видел, правда, некоторые утверждали, что она ходит в желтом платье, больше про нее сказать никто не мог, желтый сорняк в однообразном, хорошо обработанном поле, она находилась так далеко, что была безразлична.

Зато все боялись, уважали, любили черную Ксению Алексеевну, завуча начальных классов. Какая она аккуратная, подтянутая, всегда в строгом черном одеянии, наробразовский покрой, как мы ее любим, наверно, и тогда она так же медленно поднималась по широкой лестнице и гимназистки умело здоровались, как это — легким поклоном головы — вот так.

Когда Татьяна Левина вошла в класс и остановилась у дверей для объяснений и оправданий, никто на нее не посмотрел, и она пробралась на свое место.

Происходило что-то неладное, необычное. Длинная Кураева стояла у своей парты и что-то говорила. Вдруг она замолчала.

— Продолжай, — сказала учительница Сироткина.

— Татьяна плохой товарищ и отрывается от коллектива.

— Ты не бойся, — зашептала соседка по парте. — Тебя не арестуют, арестуют только твоих родителей.

Длинная Кураева говорила про нее. Она называла ее полным именем, так, как записано в журнале. Татьяна и то, и это, вдруг она свернула на Гайдара и стало понятно, что все пропало, теперь ее ничто не спасет.

Открылась дверь. Появилась чужая взрослая пионерка и громко сказала: "Татьяну Левину вызывают к директору".

Она встала, прошла вдоль парт, вышла в коридор и пошла по лестнице вслед за молчаливой пионеркой.

Огромные зеркала бывшей женской гимназии мерцали в полутьме. Чужая нянечка мыла ступеньки. На третьем этаже вместо зеркала висела большая картина в раме. Сталин взял на руки девочку Мамлакат, она протягивала ему цветы и обнимала за шею.

Тут Татьяна Левина не удержалась и всхлипнула. Бесстрастная пионерка остановилась, строго подождала, они двинулись дальше.

— Вот она, посмотрите на нее, подговорила старших толкнуть Сталину под автобус.

Это говорила генеральша, она развалилась на диване, за столом сидели желтая Сурепка и черная Ксения Алексеевна.

— Ведь они ее уже схватили, — продолжала Сталинкина мать. — Какое счастье, что она вырвалась, Только, знаете, клоч шерсти остался у них в руках.

Она откинулась на клеенчатую спинку директорского дивана, понизила голос:

— Муж у меня прошлой осенью убил двадцать зайцев, у дочки получилась шубка. Они схватили ее за шубу. Я могу показать!

Она полезла в хозяйственную сумку, которая стояла тут же на диване, с шеи свалилась чернобурая лиса с красными стеклянными глазками.

— А учится-то она как? — спросила Ксения Алексеевна.

— Отличница, — живо сказала генеральша, оторвавшись от своей сумки. — Но еще неизвестно, что будет в следующей четверти.

После уроков Татьяна Левина бродила по улицам, все какие то глубокие окна в подвалы ей попадались, родителей вызывают в школу, там и арестуют. И зачем она вернулась после допроса в класс, надо было сразу бежать домой, Галя Цветкова жила тоже в таком подвале. Потом она умерла. Многие ходили на похороны, рассказывали, как было красиво, родители купили ей шерстяную форму, такую, какую она хотела при жизни. Те, кто не был на похоронах, сказали, не все ли равно, те, кто был, обиделись. Все было новое: и коричневое шерстяное платье, и черный шерстяной передник, и коричневая лента в косах корзиночкой, и новые темно-красные ботинки.

Вот она на фотографии, среди сатиновых передников, бледное, еще живое расплывчатое создание, дети подземелья, с угла Короленко и Некрасова, перекресток русского богатства и несжатой полосы.

Теперь, когда я взяла на себя столь неблагодарный труд хроникера, я хочу сделать одну оговорку. До сих пор в мировой литературе мы встречались только с хроникерами-мужчинами. Женского варианта этой роли пока не слышно, а зря. У женщин-хроникеров есть даже, если хотите, свои преимущества. Кажется, Толстой просил жену одеть героиню — какие были платья у нее. Ну что же, нарядим нашу невесту мы сами; од-

нако, посоветуемся со знакомым ветераном, так ли безвыходно было положение отряда в этих тростниках и как случилось, что он попал в такую переделку. Мой консультант вовевал на Дальнем Востоке и мог ответить на мои вопросы.

Чьи консультации важнее — Софьи Андреевны или нашего летчика-ветерана? Мне кажется, что они сходны — оба консультанта освещают вопросы оснащения. Оснастка на балу иногда бывала поважнее военной, не случайно, обдуманная атака, подкрепленная справным, надежным снаряжением, приравнивалась к боевым действиям, от качества такелажа судна зависел часто исход боя.

Прислушайтесь к разговору двух подруг. Идет сокровенный рассказ об ослепительной победе.

— В чем ты была? — спрашивает задушевная подруга, перебивая повествование в самом неподходящем месте, чтобы сразу провести всю рекогносцировку. Если подруга более сдержанна, она помалкивает, зная, что через некоторое время она все равно это услышит, и тогда панорама сражения будет представлена полностью.

Женщина по своей природе хроникер. Назовите мне хоть одну директрису или учительницу, которая, придя домой, не успокоится, пока не изложит своему мужу производственное совещание, и я уверена, что многие советские семьи только и держатся благодаря тому, что мужья благосклонно позволяют болтать о работе своим трудящимся женам. Потеряй только она эту возможность — как побежит она по знакомым плакать свою неудачную жизнь, и какое счастье снова наступает, когда мир восстанавливается, муж дома, он не пьян, снова слушает, и даже спросит иногда, а как поживает эта ваша, как ее, Жопа, как вы там ее называете.

А сцены у колодца? а разговоры в электричках? о своих невестках? а жизнеописания соседей? Вот вы позвонили своей сестре на работу. Можете быть уверены, что весь отдел знает цель вашего звонка и помнит историю вашего замужества лучше, чем вы сами.

Уж нет, пусть говорят, что хотят, а хроникеру своей нежной героини никому не препоручу.

Вы говорите — что может понимать женщина в войне. Когда им преподавали военное дело в университете, давали вторую специальность военного переводчика, присваивали офи-

царское звание и, наконец, мобилизовали – то такого вопроса не задавали. Моя героиня понимала в войне то, что могла понять, а что она кинулась в эти тростники спасать всех, то она так и подумала, что ей предстоит "спасти всех".

И я вслед за ней так это и поняла, хотя мы часто спорили с моим ветераном, и он утверждает, что действовать надо было совсем иначе. По его словам выходит, что не надо было углубляться в эти чертовы заросли. Это была ошибка командира. Да это и так ясно! А уж коли в погоне за партизанами они забрались в эти дебри, они должны были обладать по крайней мере двумя катерами с пулеметами, полдюжиной гранатометов и уж никак не терять связи с радиомаяком.

Это самое темное место во всей этой истории, и я сама, да и мой консультант тут во многом не разобрались. Со временем докопаются и воспроизведут точную картину того трагического боя.

Да я сама, жива буду – доберусь до этого гада с берегового поста, который сказал "бери левее", ведь она, связная, бежала с донесением именно туда, и где ей было знать, что пост уже захвачен врагами, а этот гад по-русски, кто его за язык тянул, крикнул ей, давай, мол, сюда, все в порядке. За язык его, может, и тянули, возможно, и весьма основательно. Ну хорошо, допустим, под страхом смерти он должен был это сказать, но уж такую бодрую интонацию он мог не выводить, да кто его просил так вопить, ничего, мол, нет страшного, в трех снах, дурища, заблудилась. Все дело – как сказать, я никогда не поверю, что нельзя было ее как-то предупредить. Да я убеждена, что это он сам все и придумал, этот то ли Бавыка, то ли Бавякин, нашли кого оставить на посту. Сдается мне, что он сам вышел навстречу партизанам с хлебом-солью, успел испечь в свободные часы. Надеюсь, что после опубликования этого очерка откликнутся те, кто его знал. Личного дела его мне не удалось получить – какие-то там были, по-видимому, засекреченные моменты в его биографии. Рация у него была, и когда ему передали сообщение для передачи, он сделал вид, что связь прервана; ручаюсь, что из-за него погибла не только наша героиня, но был истреблен в окружении весь отряд, здесь предательство очевидное, и странно, что этим до сих пор не занялись, как говорится, компетентные органы.

Попадись он только мне, этот гад, да я ославлю его на всю страну, и будет проклят его род до седьмого колена.

Война не для нежных девиц и чувствительных хроникеров. Правильно. Но раз уж мы туда затесались, ничего не поделаешь. Такой она была для нас.

Когда объявили всеобщую мобилизацию, мы все через три часа должны были явиться на предписанный пункт. У нас были миски, кружки, зубные щетки и запас еды на день. Скоро мы уже ехали на восток.

После всем известных событий наша часть была расформирована, и мы оказались в разных местах. Меня направили в столицу, а Татьяна Левина, наша замечательная героиня, очутилась в одной из горных деревень отдаленной провинции. Это были места, связанные с именем Чокана Валиханова.

Одно время, еще до войны, Татьяна занималась историей русских путешествий в Китай, особенно хорошо ей была известна Западная провинция Китая, куда в середине прошлого века удалось проникнуть под видом андижанского купца подпоручику русской армии казаку Шокану Валиханову, потомку рода Чингисхана и правнуку киргиз-кайсацкого хана Аблая, от которого, кстати, повел родословную своего героя, Аполлона Аполлоновича Аблеухова, Андрей Белый.

Немногие европейцы побывали в Кашгаре. В свое время здесь были Марко Поло и один португалец, иезуит. В 1857 году сюда, со стороны Кашмира, приехал известный немецкий исследователь Индии доктор Адольф Шлагинтвейт. С тех пор сведения о нем перестали поступать, и вся ученая Европа была озабочена его судьбой.

Через год караван Валиханова появился на улицах Кашгара, вдоль которых были выставлены отрубленные головы, помещенные в деревянные клетки на высоких столбах. Валиханов узнавал подробности недавнего восстания местного мусульманского населения против китайского господства. Возглавил восстание ходжа, за недолгое свое правление заваливший трупами улицы Кашгара и его окрестности.

В это время и предстал перед одурманенным гашишем, озверевшим ходжой Адольф Шлагинтвейт. Был отдан скорый приказ рубить голову, и жители Кашгара видели, как по улицам города вели на казнь высокого европейца со связанными руками и непокрытой головой.

В Кашгаре существовал обычай выдавать девушек за приезжих купцов. Закончив свои торговые дела, купец уезжал, же-

на с плачем провожала его до городских ворот, но покинуть город и отправиться вместе с караваном мужа она не могла — кашгарскими законами это было запрещено. Скоро ее снова выдавали замуж. На память о каждом замужестве красавица получала в подарок от заезжего купца шапку. Особенно ценились те невесты, в доме которых было выставлено напоказ больше шапок. Красотка, на которую привели взглянуть Валиханова, хранила у себя двадцать лисьих малахаев, они были сложены на постели одна на другую, как подушки.

Уйгурская жена Валиханова тоже видела белокурого френга, особенно ей запомнились его развевающиеся на ветру золотые волосы. За городом, на берегу реки, сохранилась пирамида человеческих голов, воздвигнутая еще кровожадным ходжой; головы казненных китайцев и мусульман собирали во многих местах и отправляли к пирамиде. Впрочем, Валиханов убедился, что китайцы, подавившие восстание, в своей жестокости не уступали ходже.

Наши войска быстро продвинулись далеко на восток, и часть, где служила Татьяна Левина, оказалась в глубоком тылу. Ее поселили на окраине деревни, в чистой половине глинобитного дома, согнав многочисленное семейство в один угол.

Штаб разместился в бывшем здании уездного комитета у базарной площади.

Вначале было много работы. Нужно было перевести обращение коменданта к населению, в котором говорилось о водворении в стране подлинно народной власти, о восстановлении норм партийной жизни, о дружеских чувствах, которые всегда питались к братскому народу. Дальше населению вменялось в 24 часа сдать все имеющееся огнестрельное оружие, а также говорилось об установлении в районе комендантского часа.

Несколько ружей принесли старики, это были ружья советского производства устаревших систем, да солдаты притащили пулемет, брошенный в каких-то кустах (надо будет узнать, как они называются).

Как-то в штаб привели пленного. Допрашивал его сам полковник. Татьяна переводила.

Он был ранен при отступлении. Дочка учителя спрятала его у Южной горы. У него были тонкие черты лица и речь образованного человека. Его произношение выдавало в нем столичного жителя, и из скурых ответов можно было понять, что он

был сослан сюда, на окраину, для перевоспитания. Потом он вообще перестал отвечать, и Татьяна постаралась как можно мягче передать ему заверения полковника в том, что дочери учителя ничего не грозит, и что полковник надеется на его благоразумие, тем более что у него есть время подумать.

Однажды Татьяну пригласили принять участие в охоте. Дорога в горы шла мимо садов, где виднелись завязи гранатов и еще зеленые абрикосы, а дальше тянулись посевы белого льна и плантации опиумного мака. Как прошла охота в горах — во всех подробностях выяснить не пришлось, известно только, что Татьяна подстрелила рысь, великолепный экземпляр, ее видели многие, а на обратном пути спутники Татьяны устроили пальбу по наклевавшемуся маковых зерен галкам, которые оцепенело сидели на тополях вдоль поля, некоторые из них, совсем одуревшие, давно свалились на землю.

“Странное явление, — писал в свое время Валиханов. — Сегодня купили для обеда черную курицу. Суп от нее вышел черный, и кости птицы покрыты черной пеленой. Действительно, здесь замечено, что черные курицы имеют даже и мясо *черное*, грубое и невкусное. В Китае продают птиц всегда зарезав и ошипав. Свиньи китайские все вообще черны и бывают удивительно жирны. Китайцы удивляются и не верят, что есть свиньи другого цвета”.

Мы не знаем, удалось ли Татьяне попробовать этого черного супа, но необычная чернота, в которую впала домашняя живность, я бы сказала — некоторая обугленность, интересна сама по себе.

Татьяна несколько раз говорила капитану Тарасенко, как неприятно ей одной занимать большую часть дома, в то время как хозяева ютятся в тесном углу. Всякий раз, когда она молла себе кофе или открывала сгущенку, ее охватывала неловкость, она знала, что крестьяне давно голодают. Банки шпротного паштета и соевые батончики в переизбытке входили в офицерский паек, и она старалась вложить в руку пробежавшего по двору малыша конфету или жестянку консервов.

Мы узнали о том, что началась война, воскресным утром.

Начинался прелестный мартовский день. Собираясь в лес, Татьяна растирала мазь на смоленых лыжах. Тайпи нетерпеливо прыгала рядом.

Знала ли она, назвав своего сеттера — Тайпи (кажется,

это значит упадок-возрождение), что вскоре окажется среди чужого народа, перед древней культурой которого она преклонялась.

— Сижу дома в сезон приготовления вина, — придумывала она название трехстишию, сочиненному в подражание дальневосточным поэтам.

Осенняя луна.

Пузырьки бегут из бутылки.

Не пойти ли к стогам.

Она собиралась на озеро, по знакомой просеке. Если поведет, то увидит тетеревов, взлетевших из-под снега, а на обратном пути можно свернуть на дальнюю лесную луговину. С утра наст еще жесткий, по нему можно скользить не проваливаясь, чувствуя себя необычайно легкой.

Она родилась зимой, и ей нравились примеры зимнего выживания. Клесты, выкармливающие своих птенцов в самые морозы, тетерева, ночующие в снегу, медведи в зимней спячке. Бывает, что дремлешь добросовестно в своей берлоге, а пока в твоей добротной шкуре бесчисленные землеройки прогрызают целые ходы; и вот эффект выныривания: кроме всего прочего — стоишь и беспомощно хлопаешь глазами, а материал уже выстрижен, клочки растасканы по норам.

Горячее весеннее солнце поднимается выше, и под смолеными лыжами появляются капли воды, скоро начнет налипать снег.

Хорошо сидеть в сене, подставив лицо горячему солнцу. С севера стог занесен снегом, с юга обтаял, и остатки ползут и ползут вниз, растекаются сияющими каплями, вокруг полно заячьих следов, а вон, по глубокому снегу, наискось протопал широкими копытами лось. Из чащи слышны крики черного дятла. Лыжные палки воткнуты в снег, надетые на них перчатки отбрасывают ушастые тени. От стога ведет санный след, присыпанный золотой сеной трухой.

Татьяна включила радио, чтобы услышать сообщение о погоде, нужно было точнее выбрать лыжную мазь — градусник за окном находился сейчас на солнце и показывал температуру совершенно немыслимую. Вдруг прервали передачу радионяни, раздались позывные и голос Левитана: "Внимание, работают все радиостанции Советского Союза". Можно было подумать, что запущен новый совместный космический корабль, но тут она услышала о начале войны.

Тайпи еще прыгала, еще пахло лыжной смолой, но пора собираться в другие дороги.

Татьяне давно хотелось поговорить со стариком хозяином, но он явно избегал ее, а если ей все же удавалось на него натолкнуться и завести разговор о старине — ее особенно интересовало, есть ли поблизости какие-нибудь древности — он притворялся, что не понимает.

Сегодня в штабе только и разговору о том, что в горах появились партизаны. Они напали на склад продовольствия и взорвали мост.

Ночью Татьяна проснулась от того, что ей показалось, будто что-то пробежало у нее по лицу. Она села. Было темно, где-то лаяли собаки. Нужно было найти фонарик — обычно она старалась не ходить босыми ногами по земляному полу — тут было не до того, фонарь оказался в кармане гимнастерки, она осветила на постель и увидела прямо на подушке огромного скорпиона с длинным, извивающимся хвостом. Она тихонько подергала подушку за уголок. Гадина даже не пошевелилась. Тогда она просунула руку под подушку, осторожно, как только что испеченный пирог, подняла ее, поднесла к открытому окну и выбросила во двор этот торт с марципаном.

Она легла, подтянув в головах матрац с рисовой соломой. Было душно. От плохо просушенной соломы исходил тяжелый запах.

Ей вспомнилось, как еще на четвертом курсе, когда они возвращались с целины, в поезде, где-то около Караганды, один солдатик подарил ей упрятого в эпоксидную смолу скорпиона. В смоле была просверлена дырка, и эту штуку можно было носить на шее, как янтарь, в котором окаменела какая-то древняя гадость. В первый же день занятий ей сказали, что она совершает астрологическое преступление, подставляя себя под влияние чужого знака, чужих, не предназначенных ей, сил, и очень скоро она поменяла скорпиона на настоящие китайские палочки для еды.

И вот снова скорпион. Не к добру все это. Она встала, накинула шинель и вышла на улицу. Что за глупости могут прийти в голову.

Стояла душная туркестанская ночь. Кричали ночные ящерицы-геккончики.

Вдруг в темноте послышались шаги и приглушенный женский смех. Татьяна отступила в тень высокого ильма. По голосу она узнала дочь учителя, с ней был кто-то из офицеров. Они прошли совсем близко. Вкрадчивая красавица неспроста затеяла эту историю.

Заснула Татьяна под утро. Во сне ей почему-то захотелось посмотреть, как выглядит сямисен — дальневосточный музыкальный инструмент. На нем обычно играли гейши. И вот она в Эрмитаже.

Огни уже почти потушены, сумерки растут из углов, натертые паркеты теряются в анфиладах, за огромными холодными окнами синеют мертвые ледяные пространства площади и реки. В залах никого нет, пахнет новогодней мандариновой коркой.

Наконец в глубине засверкало причудливое золото духовых, серебро флейт, и она пошла было вдоль витрин, на которых были разложены незнакомые инструменты, как вдруг услышала китайскую песню.

В дальнем углу стоит рояль, а за ним стоит удивительный музыкант и играет китайскую музыку (на рояле? по нотам?), она подходит ближе — за роялем китаец необычайной красоты, — заглядывает в ноты, ноты привычные, только заглавие вещи "соната" выделено почему-то красным. Для кого он играет? Никто не доходит до этого самого последнего зала, да и во всем дворце сейчас никого нет.

Он кончил играть. Как выразить ей свое благоговение? Она прикладывает правую руку к сердцу и почтительно кланяется. Он целует ей руку.

— Товарищ лейтенант, — кто-то стучал в дверь.

— Что такое? — Татьяна вскопчила, будто и не спала.

— Вас вызывает командир. Часового зарезали, пленный сбежал, — тихо сообщил вестовой.

Татьяна быстро оделась, и они пошли к базарной площади. Начинало светать. Вся деревня еще спала или притворялась, что спит.

Как передать еще звучащую в ушах музыку — она ее и сейчас помнит — никогда больше она не увидит этого лица, никогда никто так не возьмет ее руки, никогда ни к кому она не будет испытывать такой благодарности.

Уж не бедный ли это Лю Шикунь с перебитыми пальцами, не его ли душа обрела последнего слушателя.

Прошелестело в тополях предрассветное движение. Закаркали вороны. Офицеры молча подходили к штабу. В коридоре Татьяна наскоро зачерпнула оловянной кружкой тепловодой воды из ведра. Кто из них был с дочерью учителя, и что произошло? Кто убил часового?

В бумагах Татьяны Левиной я нашла ее статьи о литературных достоинствах сочинений Валиханова, о связях его с русскими писателями, о высоком предназначении Валиханова, которое провидел Достоевский, о чувстве избранничества, владевшем им; но в них ничего не было сказано о тех планах, которые связывало с его поездкой в Кашгар правительство Российской империи. По-видимому, ее это не занимало. Поехал и поехал, чуть ли только не для того, чтобы узнать обстоятельства гибели Адольфа Шлагинтвейта или пополнить славный список путешественников в Кашгар, начинающийся с Марко Поло, своим именем.

Между тем ей были известны официальные документы Азиатского департамента Министерства иностранных дел "Об отправлении в Кашгар поручика султана Чокана Валиханова", она их, конечно, смотрела и, при ее добросовестности, даже сделала некоторые выписки, к примеру, из пространной записки тогдашнего директора Азиатского департамента Е.П. Ковалевского "Положение дел в Кашгарии и наши к нему отношения", в которой Кашгару отводилось важное место в политике Российской империи в Азии. Речь шла об образовании в Кашгаре "отдельного от Китая ханства", принятии его "под покровительство России" и — как результат — о приобретении "совершенного господства в Средней Азии" и тем самым расчистке "пути далее". Имея в виду такие далеко идущие интересы, он и считал необходимым "употребить все усилия как для собрания сведений о положении дел в Кашгаре, так и для проверки тех, которые мы имеем о путях к нему", а для этого рекомендовал "послать опытного и надежного офицера в Кашгар".

Просветитель и ученый, Валиханов еще только стоит на пороге своих географических открытий и знаменитых этнографических трудов, а военный министр Сухозанет по "высочайшему повелению" уже приказывает командиру Отдельного Сибирского корпуса, в ответ на возможную просьбу о помощи от независимой от китайцев мусульманской династии в Кашгаре, быть готовым к "оказанию содействия".

Выписки эти Татьяна сделала, повторяю, по своей добросовестности и, по-видимому, не придавая им значения, не задумываясь, осознавал ли Валиханов, возглавляя кашгарскую экспедицию, какая роль ему была отведена царской администрацией, — для нее он только ученый путешественник, напущенный П.П. Семеновым.

Какие там роли, отведенные администрацией! Шел расцвет экскурсионной эпохи. Добросовестность — в переписывании, в изучении и осмотре достопримечательностей — и не больше. Колорит, экзотика, литературные места, или наоборот, "глубокая непоселенка" — вот что волновало сердца. Туристская экспансия — поиски новых и новых мест, ибо не только на имена, но и на маршруты распространяются эти поветрия.

— Он здесь бывал и оставил часть своей души.

Красив долговязый Шлагинтвейт с развевающимися кудрями, в сопровождении головорезов с саблями, неплохо выглядит и наша Татьяна, когда ее ведут к месту казни.

А мы-то вспомним, что делали, где были.

Мы отдыхали воскресным утром. Вот и все.

Позывные экскурсионной эпохи — воскресная передача "С добрым утром".

Самое употребительное слово — настроение. Ничто не должно его портить. Спецслужба настроения имеет свои часы выхода в эфир.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, ваши настроения настроены на волну нашей службы, — механически взвинченные голоса, — сейчас вы дома, всей семьей...

Конечно, сначала поздравим химиков, металлургов, сегодня их праздник, а потом и настроим. Вот наш вечно любимый артист с его неизменными застывшими характеристиками — только два тона — управдом с фиктивным "г" и противный интеллигент с подозрительными "л" и "р".

Итак, где бы вы ни находились сейчас, этим чудесным воскресным утром, родина слышит, родина знает. У вас у всех прекрасное воскресное настроение потому, что сегодня вы выспались, сейчас будете завтракать и война еще не началась.

Что мы будем делать после завтрака. По странам и континентам. Неплохо бы туда съездить. Чунга-чанга, милый остров. Давай туда съездим. А уважаемые друзья русского языка? Тут настроение начинает понемногу портиться. Прошло уже пол-

дня. Строгий голос учит — нельзя говорить так, надо говорить вот так, эта форма внеязыковая. Запишите домашнее задание, как правильно и красиво стоять в очереди. Кто крайний? Нет, кто последний.

Как жили тогда, до войны, ничего такого особенного вспомнить не могу.

— Вышел путеводитель, тебе купить?

— Вы еще не были? Обязательно побывайте.

— Читали "Науку и жизнь"?

Наука для жизни, маленькие хитрости, доморощенные средства для выживания, а не прочли — погибли.

Время сенсационных статей в юнармейских газетах о недавно обнаруженных биополях вокруг универсамов, засохшие сыры оживают, особенно начинает благоухать рокфор в присутствии обладательницы одной такой полянки, стоило ей выйти из комнаты, сырки становились тверже прежнего.

В центре всеобщего внимания экскурсионной эпохи — открывающиеся и готовящиеся к открытию музеи.

Разрывался на части декоратор одной архитектурной фамилии, он одновременно готовил худ. оформление в нескольких городах, и везде можно было полюбоваться его бесцветной стряпней.

Народился размашистый тип музейного администратора, ценителя золота и серебра, который на глазах теснил прежнего, как бы бессребреника, сухого, напуганного, не умеющего маневрировать.

Быстро ухватив, что сейчас "самое-самое", они научились рассуждать о том, в чем ничего не понимают, своим выделанным, перенявшим интонацию того, другого, третьего специалиста, голосом. Причем заемная мягкость, скрывающая хищные, злые пружины, могла некоторых обмануть.

Объявился удивительный подделыватель любых гениальных почерков.

Страницы нашей классики выходили из-под его рук, как будто обваренных кипятком, более подлинными, чем настоящие рукописи. Но странное дело. В один прекрасный день все дорогие сердцу строки вдруг приобрели красноватый оттенок. В чернилах появился какой-то дьявольский отсвет, а экзема покрыла теперь не только руки удивительного мастера, но перешла и на ошпаренное лицо с бесцветными ресницами. Все

заметили, что его глазки отливают красным, так же, как и его чернила.

Ну, хватит. Больше ничего я не могу вспомнить из того изобильного, представляющегося безоблачным, а на самом деле выцветающего, как одичавшие маргаритки, обесцвеченного выродившегося времени.

Включите радио. Сейчас скажут погоду или еще что-нибудь важное. Хотя мы и веселимся, но атавистическая память, всегда готовая к голосу специально приберегаемого на этот случай диктора, в нас жива.

Кто сказал, что об этой войне мы услышим только от него; это мы сами ждем его, ждем его и представляем себе это именно так, только воскресным днем. Каждый чудесный воскресный день таит в себе угрозу вторжения этого бархата.

Его бархатный голос — это его бархатные штаны, знак его должности королевского глашатая. Никто лучше него не овладел искусством окутывать сказанное таким непроницаемым, чернее ночи, бархатом: никакая часть скрытого механизма не задрезжит, не звякнет, не выпадет — все помещено в надежную упаковку.

С детства в нас страх паузы в передаче, и именно он, народный артист нашего катастрофического сознания, он всегда там, около последней весты, труба Ангела для него зазвучит на секунду раньше, он первый услышит весть; мы всегда тут, мы все тут, сгрудились у репродуктора, что бы мы ни делали, где бы ни находились, мы всегда знаем, что метроном тикает.

Карательный отряд

Уже несколько дней Татьяна Левина в составе особой группы участвует в спецоперации. Катера плывут по озеру, патрулируют безлюдные берега, прочесывают запутанные заливы. Немногочисленные селения этого мусульманского района покинуты жителями. По имеющимся данным, именно на него простирается сфера влияния недостаточно вооруженного партизанского отряда.

Однажды на закате, при следовании по заливу Шайдан, вахтенный обнаружил слева по борту на берегу какие-то перемещающиеся точки. При дальнейшем наблюдении оказалось, что это был всего лишь табун лошадей, однако, признаков ка-

кой-либо пастушеской жизни около него с воды увидеть не удалось.

Командир отряда принял решение бросить якорь за мысом и, когда стемнеет, отправить на берег разведку с заданием установить численность возможной кочевки и доставить для допроса кого-нибудь из местных жителей.

Утром, выйдя из палатки, Татьяна заметила на прибрежном песке следы маленьких, почти женских, босых ног. По размеру это могли быть даже ее собственные следы, но ничто не могло бы ее заставить пройти без сапог по здешним лужайкам. О скорпионах, фалангах, каракуртах она помнила всегда, особенно когда по утрам бралась за отсыревшие за ночь сапоги, сложенные в головах у входа в палатку.

Итак, если она не выходила бродить по этим лунным полям босиком — разве что во сне — то это был чужой.

Она пошла по следам, они то пропадали в воде — он шлепал по мелководью — то выходили снова на песок; трогательная круглая пятка, аккуратные пальцы — все это почти не соединялось — разведчик явно не страдал плоскостопием. У протоки, просвечивающей сквозь камыши, следы потерялись, бродяга уплыл.

Уплыл и уплыл. Надо умыться. Все ли у нее с собой. Она зачерпнула кружкой солоноватой воды, полотенце повесила на камышовую кущу; как только она взялась за мыло, мыльницу тут же подхватило и она запрыгала по ребристому песку, потом ее вынесло в соленую лужу, разлившуюся после недавнего шторма, и она, весело раскрутившись, поплыла по синей ряби.

Пролетели две цапли. Взошло солнце. Надо было возвращаться. Вдруг послышалось тяжелое плюханье, как будто кто-то с размаху кидался в воду.

Татьяна замерла. Стая гусей хлопает по воде? нет, не похоже, слишком тяжелая посадка, может, кабаны купают своих поросят — зажмурив глазки, окунаются в воду — тогда лучше подальше, она уже привыкла к их остреньким следам на песке, к их проломленным в камышах тропам, видела не раз и лежбища, но так близко встретить бы не хотела. Она остановилась. Все же надо посмотреть — и тихо пошла на шум. В зарослях тростника открылась протока. Никаких кабанов не было. Уж не засела ли здесь эта босоногая китайская лиса? Вдруг

что-то плеснуло, и она увидела расходящиеся по воде круги. Какая-то темная гладкая спина на секунду показалась из воды — да кто же тут такой? Вот еще такая же спина, на этот раз ближе, на мелководье. Татьяна подбегает — да это огромная рыбина. Воды по колено, рыбина мечется у ног, но уплыть не может, запуталась в траве и ухватить себя не дает, всякий раз выскальзывая из рук.

Татьяна бежит за оставленным на берегу полотенцем, возвращается, рыбина еще здесь, нежно укутывает ее, берет на руки, торжественно несет к лагерю.

Подъема еще не было. Татьяна тихо отстегивает полог палатки и бросает туда рыбину — она прыгает в душной тесноте, солдаты просыпаются, вскакивают. Ваньсуй! бросай оружие! ай да лейтенант!

Солдаты бросились к воде. Ловили, кто чем мог. Оказывается, шел нерест сазана. Котел уже кипел. Оставалось только бросить очищенную рыбу. В воздухе кружились чайки и вороны. Рыбьи пузыри мчались по поверхности воды, взлетая вверх с гребня каждой волны.

Но попробовать ухи не удалось. Отряд делят на две части. Одна остается здесь, другая отправляется обследовать протоку.

— Не дело пускаться по этим лабиринтам, — думает Татьяна. Даже местные рыбаки, как она заметила, оставляют себе условные знаки, приметы, чтобы найти обратный ход — то камни пригнут или свяжут, то палку поставят на самом высоком бархане.

Капитан смотрит на карту. Если держаться все время левой стороны, то непременно выплывем снова в залив Шайдан.

Ну вот. Заблудились по этим бесконечным озерам с тысячами выходов-исходов, не то что преследовать врага, а выбрать бы подобра-поздорову. А теперь еще и бой принимать на невыгодных позициях — уже начался обстрел с того берега, и рация барахлит, кажется, вообще отказала. Остался радиомаяк. Затонуло два катера.

Итак, кому-то надо возвращаться за помощью. Почему бы и не ей. Переводчик здесь вроде уже не нужен. Конечно, она сумеет добраться до залива Шайдан.

— Разрешите попытаться, товарищ капитан.

— Отправляйтесь. Проверьте фляжку с водой. Возьмите автомат. Словарь можете оставить.

Началось новое приключение, самое интересное из всех. Она найдет дорогу к заливу Шайдан. Что, кстати, означает это слово. Кажется, место успокоения мучеников. Неплохо. Она относилась к тем, кто не теряет, а находит.

Чего только не было в списке ее предвоенных находок. На тропинках в лесу она находила ножи, один из них был настоящий бандитский с мгновенно высканивающим после нажатия красной кнопки лезвием. По реке к ней приплыл неизвестно откуда взявшийся крепкий арбуз. На Невском она подобрала лазурит, по-видимому, выпавший из какого-то чужого перстня. Разделявая венгерского петуха к празднику, она заметила в его оттаявшем обработанном нутре крупную розоватую жемчужину, то ли оброненную на кормокухне неизвестной работницей, то ли вольный петух венгерского пути развития сам склевал жемчужину на каком-нибудь речном берегу.

И в этих джунглях она не потеряется. Не хватало только пробкового шлема.

Все остальное было в порядке. Тем более, что изрядный кусок пути уже остался позади. Возможно, будет и пробковый шлем. Откуда? А приплывет по воде.

На пути к заливу Шайдан она верила в свою неуязвимость.

Скоро она выйдет к лагерю, на помощь отряду будут посланы вертолеты. Молодец лейтенант. Она всегда знала, что ей суждено необыкновенное. Даже если отряд будет окружен, сопротивляться здесь можно долго, но самим прорваться без больших потерь вряд ли удастся, наверняка их ждет засада — выход из озер один, только одна протока ведет к большой воде, сотня остальных не ведет никуда. Она их спасет.

Посмотрел бы кто на нее сейчас. Вот, оказывается, для чего она росла, учила язык, интересно, сколько она уже прошла по этой кабаньей тропе.

Иногда перед лицом возникала прочная паутина, соединявшая две метелки тростника так сильно, что даже толстые стебли сгибались, притянутые друг к другу, сам хозяин висел тут же. Сначала она старалась избегать этих ловушек, но скоро забыла о них. Паутина липла к потному лицу и мокрой шее.

Столб черного дыма перемещался где-то на горизонте, если взглянуть, можно было увидеть и пламя, но ярким весенним днем оно казалось бесцветным. Горели прошлогодние тростники. Такие пожары — обычная здесь вещь, успокоила

она сама себя. Ну и дичи здесь, и все уже парами.

Пролетел черный, как головешка, баклан, как будто он сильно пригорел у плохой хозяйки на сковороде. Запахло дымом. Огонь приближался. Ветер дует оттуда.

Что она, интересно, будет делать, когда огонь подойдет сюда? Влезет по горло в воду или выберется из тростников на открытое место – вон на те сопки? – ах твою, вон и с другой стороны подступает, заворачивает – босоногий вытравливает ее, как зайца.

Скорее на высокое место. У, бля, ладонь пропорола, кровь оставалась на желтых стеблях.

А если правда то, что было написано на всех этих воротах и стенах в деревне. Солдатам мы говорили, что это так себе, ничего интересного, изречения из Конфуция, например, или благие пожелания к празднику, а это были настоящие партизанские листовки. Вражеская армия, мол, терпит жестокие потери, скоро войсками народной армии будет освобожден Синьцзян.

Наконец она выбралась из душных тростников и поднялась на песчаный бархан. Свежий ветер сразу высушил потное лицо.

Тут-то на бархане босоногий и возьмет тебя на прицел, ляжет-ка она за этот куст и сообразит. Она огляделась. Над тростниковым морем поднимались песчаные холмы.

Какие просторы. Огонь мгновенно выбирал низины, огибал скрытые до этого озера и протоки и мчался дальше, оставляя черную дымящуюся щетину.

Сюда, за бархан, огонь не доберется. Ничего кроме песка, редких кустов и тангутского ревеня. Прямо под рукой распластался огромный лист. Она вырвала стебель, содрала розовую кожицу, вкус показался знакомым.

Вокруг нее чернели норки, прорытые в песке, сновали серые ящерицы, постойте, как они называются, – хвост загнула, что твой расщепленный стебель ревеня. Огромная раздутая морда. Ушастая круглоголовка! Очень мы испугались твоей азиатской рожки.

Вот она и спаслась от огня вместе со здешними пресмыкающимися тварями. Все верхние спаслись, кто гнездились внизу, сгорели. Посмотри лучше, что стало со всей твоей родней в низине. Там курился легкий дымок.

Все было как будто чисто выметено, остались только съезжившиеся листья ревеня, похожие на обгорелые газеты.

По краю озера, взметая прах, пробежал волк.

Огонь скрылся за холмами. Пора и ей. Как можно скорее пересечь эти черные места и снова в спасительные тростники. Скорее, скорее. Солнце сделалось тусклым. Под сапогом чувствуется жар, черные облачки вздымаются при каждом шаге, как от гриба-пылевика. Все здесь переменялось в несколько минут. Как будто не шумели тростниковые джунгли, не плелась паутина, не завивались гнезда, не гуляли кабаны и она сама тут не продиралась. Бежит теперь не хуже волка — пусть земля горит под ногами врага — разве она враг, никого в жизни не ударила, не было у нее никогда врагов, добродушная красotka да и только, рожа в саже, а кто же она, враг и есть, смертельный, пропала ее головенка. Видно ее, как перелинявшего к зиме зайца на черной еще тропе.

Фу ты черт, фляжку оставила на песчаной сопке, теперь еще и без воды, нужно будет — и соленую выпьешь. Она уже видела, что пропадает, но все дальше и дальше пробиралась к северу. Большая вода должна быть уже близко, если, конечно, она не сбилась с пути. Приходилось обходить все новые и новые озера. Стрельба слышна нисколько не меньше, далеко разносится по воде, будто и не отошла далеко.

Она заметила шест на дальнем бархане — прекрасно, где-то там протока выходит в Большое озеро, там и лагерь. Она стала различать шум волн, но это могло шуметь в ушах.

На пути снова возник заливчик. Так не хочется обходить его. Она ступила в воду, здесь всего десяток шагов. Не следовать же, в самом деле, его прихотливой линии, которая теряется в зарослях, к тому же узкая поначалу протока может расширяться и снова стать озером. По краям заливчика белела соль, значит, уровень воды понизился, тогда здесь неглубоко.

Она плелась по воде, зачерпывая ее ладонями и смачивая лицо, вдруг нога ушла вниз и она свалилась в воду, попробовала встать, увязла, выдернула сапоги, попятилась, из потроженного дна потянулись пузыри.

Она плюхнулась на живот и попыталась плыть, то и дело задевая страшное дно. Вода переболталась с грязью. Наконец она выбралась на берег, но натолкнулась на такую стену тростника, сквозь которую пробиться было невозможно. Не надо

было сворачивать с кабаньей тропы. Она пошла было по самой кромке воды и снова оступилась, ноги снова ушли в вязкое дно, но она ухватилась за плотные стебли и вытянула поочередно обе ноги.

– Эй-эй! Что-то я застряла-а-а! – крикнула она на всякий случай. Вдруг пост уже близко.

Она услышала впереди шум, какое-то движение, и голос крикнул: "Кто там?"

– Это я! Лейтинант Левина!

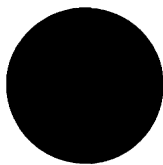
Тот же голос снова что-то прокричал, ей показалось, что она разобрала слова "левой, левой". Она подалась влево, но там стояла такая же непроходимая стена.

– Мне не выбраться! – Но она уже слышала, как кто-то продирался ей навстречу, хлопал по воде. Заходили ближние стебли, и прямо к ней вышли двое.

– Люки вельх! – сказали они, направив на нее автоматы.

Когда войска союзников освободили Кашгар, уйгуры рассказывали, что видели, как вели через весь город высокую девушку. Была ли это она или нет – установить трудно.

Ленинград



И. Меттер

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, нижеподписавшийся, Меттер, Израиль...

Нет для меня более отвратительного дня, чем тот, когда я вынужден писать свою биографию. Сотни раз я совершал эту унижительную работу, всякий раз тщетно силясь припомнить, в каких же пунктах я врал в прошлые разы.

И только ныне, в последние года три, мне все осточертело, и я стал писать оголтелую правду. Постепенно. Не сразу.

Утаивать мне приходилось сухую ерунду, пустяки – это если на взгляд ковбоя с Дикого Запада. С позиции же советского кадровика-КГБиста, курировавшего наши вдохи и выдохи, я всегда был кругом виноват – начиная со своего криминального имени-отчества: – Израиль Моисеевич.

Моя биография, с самого раннего детства, полна компромата. Вряд ли этот простецкий, ходовой для нас термин мыслимо перевести адекватно на европейские языки.

Шестилетним мальчишкой я был отдан в древнееврейскую гимназию "Тарбут", что по-русски значит "образование". Гимназию эту – в ней поначалу существовало всего три класса, – ликвидировали в 1918 году, а единственный наш учитель, господин Праховник, был арестован и исчез навсегда. Краткое мое обучение – младший пригготовительный класс, старший пригготовительный и первый, – отрыгнулось мне через восемь

лет: в 1926-ом я был исключен из профшколы литейщиков за то, что когда-то состоял гимназистом в "Тарбуте". Оказалось, шести лет отроду я уже был сионистом.

Мог ли я писать об этом в своих многочисленных биографиях?

Бдительный подсчет на современной ЭВМ дал бы точные данные о моем образовании: всего-то один год в харьковской 30-ой трудовой школе. Поступив сразу в седьмой класс, я окончил его, что на всю жизнь определило мое незаконченное среднее образование. Для дальнейшей профессии учителя математики этого было скудно.

Трижды я пытался поступать в институты. В разные. Меня не принимали. Мое социальное происхождение было до того ужасающим, я так запутался в нем, до того изоврался, что уж лучше сейчас написать первую попавшуюся под руки формулировку: сын капиталиста. Мой отец умудрился перед самой революцией купить в Харькове макаронную фабрику. Она называлась – "Италия". На ней работало пятеро рабочих: машинист – мой отец, тестомес – старший мой брат, прессовщик – второй брат, и еще двое наемных. Фабрику реквизировали в 1920-ом.

Мог ли я упоминать эту жуткую правду в своих разнообразных многочисленных анкетах? Я и сейчас рефлекторно содрогаюсь, сообщая это впервые. Да авось, Бог милует – пронесет...

Дальнейшая моя жизнь по сегодняшний день складывалась бесхитростно. Домашнее самообразование дало мне возможность, используя справку брата-физика, начать свою учительскую работу: преподавал элементарную математику. Заниматься сочинительством начал рано, но несколько раз бросал это занятие – слишком любил и почитал литературу.

В блокадном Ленинграде писал антифашистские фельетоны.

Сталина ненавидел всегда – упоминаю об этом, ибо ненависть к нему вошла в мою кровь, следовательно – в биографию.

Женат. В третий и последний раз. Жену люблю. Детей нет.

Счастлив, что дожил до нынешнего непредсказуемого, но и не предсказанного времени. И постоянно горюю, что не могу рассказать о нем моим любимым покойным друзьям – они умерли в безнадежной тоске и печали.

РОДОСЛОВНАЯ

Я родился давно.

Дело не в дате: сама по себе она лишена живописности — минувшее окрашивается не календарем, а приметам канувшей эпохи.

Я родился так давно, что в годы моего раннего детства еще говорили: ВАТЕР-КЛОЗЕТ; собственно, произносили даже фамильярнее — просто клозет, а ВАТЕР-КЛОЗЕТ уже звучало несколько официальнее, вроде имени и отчества. Пришло к нам это название с Запада — как тогда говорили, из Европы, — тут был ихний приоритет, не оспариваемый даже в сорок девятом году. Если бы я вознамерился углубиться в эту серьезнейшую лингвистическую тему, то обязан был бы сообщить, что простонародье называло клозет "ОТХОЖИМ МЕСТОМ", а городское мещанство произносило стыдливо: "КУДА ЦАРЬ ПЕШКОМ ХОДИТ".

Итак, я родился очень давно: настолько, что в моем детстве к женщинам нашего убогого двора обращались — МАДАМ. То есть и мою маму называли мадам, а отца — господин.

И еще: Мотя, наша добрейшая и честнейшая прислуга, родом из Мценска, велела мне, когда я зачитывался в сумерках:

— Вздуй свет! — Это значило, что я должен включить электрическую лампу.

Мотя была с моими родителями строга — говорила им "ты", а они ей "вы".

Мать рожала меня у доктора-акушера Арие, у него была собственная клиника в центре города, на Пушкинской улице.

— Я рожала у Арие. — Эту фразу произносили многие женщины нашего двора. Обсуждали и в будущем времени:

— Где вы собираетесь рожать?

— У Арие.

И я долго не понимал, что это такое — АРИЕ?

С сестрой дело обстояло понятнее — мама родила ее дома на большом обеденном столе; в восемнадцатом году этот Арие куда-то подевался. Я вообще никогда не видел его, хотя он был первым человеком на всей планете, которого я должен был увидеть. Вывеску у дверей его клиники много раз читал — большую, как картина, и даже помню ощущение таинственной пожизненной связи с этой вывеской, с высокой двустороча-

той торжественной дверью — подле нее я замедлял шаги, когда проходил мимо. Сквозь толстые зеркальные дверные стекла видна была мраморная лестница, по ее широким ступеням меня, туго запеленутого, сносил отец.

Это все я вспомнил или придумал, приехав в Харьков несколько лет назад. Нашел дом Арие, не знаю уж, как отыскал его — как старый угорь, плывущий погибать к месту своего рождения. По обе стороны облупленных двустворчатых дверей, провисших, сотни раз перекрашенных, незакрывающихся, было не счесть вывесок, и каждая из них испещрена буквами русского алфавита, но в таком тарабарски-аббревиатурном сочетании, словно дюжина племен грядущей цивилизации захватила это здание и пытается в нем сожительствовать.

Отец окончил четыре класса городского училища в Минске. Я не уверен, что это точно — возможно, и три класса. Грамматические ошибки, которые он совершал устно и письменно, причудливые ударения, произносимые им, позволили бы сегодня предположить, что он заочно окончил какой-либо из наших вузов и направлен на руководящую работу.

Лет двадцать назад, к тому времени мне уже было под шестьдесят, я внезапно заинтересовался генеалогическим древом моего рода. Толчком к тому послужила фотография моего прадеда. Грустный задумчивый старик, обильно седобородый, в картузе и длинном лапсердаке, сидит на стуле, одна рука его на колене, а вторая — на раскрытой толстой книге.

Вот книга и распалила мое воображение.

Быстро подсчитав минувшие поколения, я вычислил, что фотографировался прадед не позднее середины прошлого века. А книга обозначала, что мой род грамотен с незапамятных времен. И этот загрузило мою душу гордостью, не сравнимой с той иронической печалью, с которой я вспоминаю свою жалкую справку о моем образовании. За полтора года, что отделяют меня от фотографии прадеда, я мог бы постичь множество наук. Не удалось мне подхватить палочку эстафеты — прадед носил ее в заднем кармане своего лапсердака.

Назойливо и властно врываются в мою старость детские

воспоминания. Непонятно, как удалось уцелеть им под напором действительности — даже не уцелеть, а воспарить над ней.

В наш двор приходил глухонемой. Он просил подавание — было такое слово. Худой, в отрепьях до голого смуглого тела, с неподвижным лицом, он огибал большущий овальный двор с огороженным палисадником посреди, обходил под окнами, под балконами и тянул стонущим голосом:

— Н-н-н-а-а-а... Н-н-н-а-а-а...

Этого тона я страшился, мне было тогда года два — точность возрастных дат трудноустановима.

Воспоминания лежат, как птичьи яйца в гнезде, душа долгие годы обогрела их, а сейчас они беспорядочно и беспощадно проклеваются.

Ожил двор. Над ним, как в театре, поднялся занавес памяти.

Возникает во дворе шупленький китаец в синей куртке и синих шароварах. Он улыбается без перерыва и говорит что-то подряд на своем быстром рассыпчатом языке. Зовут китайца "Ходя". Расстелив в палисаднике коврик, он раскладывает на нем веера, коробочки, фонарики из веселой цветной бумаги. Это для продажи. Главное же: из бездонных карманов своих шаровар Ходя извлекает шарики величиной с крупную вишню, глотает их один за другим штук десять, а затем, показав нам свои пустые ладони, вынимает эти шарики из наших ушей, открытых ртов, из-под мышек...

Первые в моей жизни похороны. Умерла бабушка, мамин мать — несгибаемо высокая, гордая старуха, постоянно обиженная на кого-то из родни. Ей легко давалось это постоянное состояние, детей у нее было несчитанно, человек двенадцать — мне так и не удавалось перечислить их. Да еще под рукой у бабушки находился гнетущий раздражитель — дед. На мой-то детский взгляд он побаивался ее, но она вела себя так, словно от него исходила ежеминутная опасность самовольства и бунта.

Нас, внуков, ни бабка, ни дед не баловали своим ласковым вниманием. Мне даже казалось, что они не совсем уверены в том, как меня зовут.

Дед бывал у нас редко; приходя, выпивал полсамовара

чая вприкуску с мелко наколотым сахаром; иногда бессловесно подзывал меня, поманив огромным желтым указательным пальцем, пахнущим столярным клеем — дед был переплетчиком, — и, жестко поставив меня между своих колен, задумчиво рассматривал мое скучающее лицо, затем спрашивал:

— Ну?

Я отвечал:

— Хорошо. Спасибо.

Он одобрительно кивал и произносил на "жаргоне" (так в Харькове евреи именовали язык "идиш"), произносил на жаргоне всегда одни и те же два слова:

— Зай а менш!

Я понимал, что по-русски это значит:

— Будь человеком.

Пожелание, с моей тогдашней точки зрения, совершенно бессмысленное: смешно ведь мне, человеку, желать, чтобы я стал человеком.

Более обстоятельный разговор у нас не мог состояться: мои познания жаргона были ограничены, а дед пользовался своим скудным запасом русских слов лишь в крайних случаях.

Много лет спустя, когда ни его, ни бабушки уже давным-давно не было в живых, я случайно узнал, что тихий и скучный старик, подле которого я томился в детстве, был совсем не похож на того буйного молодого еврея, что купил в Минске на свои жалкие сбережения крохотную переплетную мастерскую. Превратившись таким путем в собственника, он тотчас подчинился всем железным законам развитого капитализма, гениально открытым немецким евреем Карлом Марксом. Встречаясь на минских улицах со своими конкурентами, дед неизменно вступал с ними в ожесточенную драку. И случалось, возвращался домой с расцарапанным лицом и разбитым в кровь носом. А поскольку это чаще всего приключалось по субботам, когда набожному иудею запрещено религией обременять себя любой ношей, включая даже носовой платок, то утереть свой нос дед не имел никакой возможности.

Бабушка омывала его лицо, смазывала йодом царапины, но одновременно тиранила его душу бесконечным занудством. Перечень ее попреков был известен деду с первых же дней бракосочетания. Ее, бабушкина, семья жила на Захарьевской улице, лучшей в губернском Минске; семья деда ютилась на Ра-

ковской, где в дождь калоши — если были там у кого-то калоши! — всасывались в грязь; глава бабушкиной семьи, из рода в род, покупал ежегодно самые дорогие места во втором ряду кресел лучшей минской хоральной синагоги; а семья деда молилась, стоя позади колченогих стульев синагоги у базара; в бабушкиной семье пили по праздникам прекрасное кошерное вино из знаменитого магазина Жевержеева на Губернаторской площади; а семья деда, да и сам дед варил вино круглый год из кишмиша с хмелем, и в довесок ко всему бабка лично подсмотрела, как дед, будучи с ней в гостях и выпив три неприлично крупных рюмки пейзаховки, ущипнул за толстую задницу хозяйку дома, а она в ответ, задыхаясь в корсете, улыбнулась ему золотыми зубами. Дед терпел, сколько хватало терпения, но с каждым разом оно иссякало все быстрее; он рывкал порусски черную брань, издавна знакомую ему от балагул — ломовых извозчиков с Захарьевской улицы. Бабушка этих слов не знала, но удовлетворенно утихала: ей удалось довести деда до нужного состояния.

Я бывал у них в гостях. Я любил это дальней странствие в иной мир — они жили на окраине — здесь был уже не город. Сюда надо было добираться сперва на весело звенящей конке в сквозном вагончике без боковых стен, две добрые приветливые лошади трудолюбиво катили его по рельсам. Мелькали многоцветные витрины магазинов, мчались с колокольным боем пожарные колесницы, гремели серебряные трубы оркестров впереди храбрых солдатских шеренг — я захлебывался миром открытий. Все пустяки, постигнутые тогда, выросли внезапно сейчас до таких размеров, что мне порой удается заслониться ими от тревог сегодняшнего дня.

А после конки я длинно и пыльно шел по широченной мощеной улице, одноэтажные деревянные дома стояли вразброс в глубине пустынных дворов за оградой. В самом кособоком жили мои старики.

Я помню кухню с непомерной, во всю беленую стену, печью; таинственную пещеру ее, куда бабушка вползала вползину своего длинного тела и длинной рогатиной вытаскивала оттуда большущий, пышущий жаром чугунок с едой — лишь тут я наслаждался кушаньем, никогда более не слыханным и не виданным. Чугунок был наглухо замурован такой же тяжелой черной крышкой. И когда бабушка, обхватив тряпкой,

подымала ее, по всей кухне, от щелястого пола до косого потолка, пылал запах праздничной яркости — казалось, он даже светился.

Я гостил здесь по субботам и эту праздничную пищу уплетал с жадностью. Называется она "ЧОЛНТ" — слово, не познанное мной до сих пор. Главная составная часть "чолнта" — обыкновенная картошка. Но, Боже мой, разве на самом деле она главная? Вкус этого блюда определялся трепетной частицей бабушкиной души, вложенной в него вместе с куском кошерной говядины.

Если не я, то кто же сейчас в силах поведать миру секрет изготовления этой ритуальной субботней пищи малоимущих религиозных евреев.

В пятницу днем, непременно до захода солнца, покуда еще не грешно работать, бабушка сортировала во дворе поленья дров; понемножку сносила их в жерло печи, укладывая особым, одним ей известным манером. А за окном меркнул священный солнечный свет. На часы бабушка не смотрела — предсубботный закат солнца учащал биение ее набожного сердца.

И был тут во дворе еще один человек, страстно ожидавший этого мгновения. С последним лучом уснувшего солнца возникал на пороге кухни дворник, в его кулаке был зажат коробок спичек. Он молча, деловито направлялся сперва к столу, где в шестисвечнике торчали огарки; подпалив их с одной спички, он шел к печи. Искусно уложенные дрова вызывали его льстивое восхищение:

— И откуда это ваш народ все умеет! Не то, что наш русский дурак.

На углу стола лежал приготовленный бабушкой медяк — плата за грех, от которого "шабес-гой" — субботний иноверец — избавлял моих стариков: зажигать огонь в пятницу вечером и в субботний день воспрещено грозным Иеговой. Торопливо смахнув медяк в просторную клешню, дворник спешил в соседние дома, где его тоже дожидалась набожная клиентура — он обслуживал по пятницам весь квартал.

А дрова в печи горели долго, от них оставалась груда мощно светящихся бездымных углей. И в самое пекло, отвернув в сторону лицо, бабушка вдвигала на рогатине чугунок с будущим "чолнтом". Сперва он гневно кипел, сияясь вырваться

из-под тяжелой крышки, затем, обессилев, покорно и ласково млея сутки напролет в замкнутой печи, ее пещера была плотно задвинута листом железа.

Дед ел это блюдо причудливо, не так, как мы с бабушкой. Рядом с его тарелкой стояла чашка с водой, он крошил в нее черствый хлеб и попеременно с горячим духовитым чолнтом черпал ложкой свою тюрю из чашки... Где мне было догадаться, что это была не вода, а водка — тюрей он обманывал наивную бдительность бабушки. Я же лишь видел, что он оживлялся после еды и проявлял ко мне внезапный интерес, вызванный не кровной близостью, а жаждой самовыражения. Он вел меня в сарай, в свою умирающую переплетную мастерскую: работать он уже не мог, но исполнял еще изредка мелкие заказы — переплетал молитвенники. С восторгом упоения он раскладывал передо мной на верстаке эти книги, почтительно поглаживая их бархатные переплеты, голубые и синие; буквами золотого тиснения выписаны были на бархате фамилии обладателей молитвенников, и боковые обрезы были покрыты золотом.

Он не докучал мне своей набожностью; даже будучи мальчишкой, я понимал, что центральное для него сейчас — показать мне свою работу. А показав, он тотчас отключался, уносясь в состояние послеобеденного небытия, и никак я не мог уловить тот зазор секунды, когда он улетал от меня. Его крупная голова в шелковой ермолке продолжала увенчивать широкоплечее тело, даже глаза были приоткрыты, но дед существовал как бы одновременно в двух мирах: в нынешнем своем, онемевшем и ослепшем, и в ином, никому не ведомом — быть может, в давно минувшем, а возможно, и в грядущем.

...Почему эти старики, безразличные для меня в детстве, исчезнувшие из моего сознания навеки, внезапно ожили сейчас в самое непригодное для них и для меня время. Их зыбкие очертания колеблются в моей памяти, как водоросли на дне речного потока. Мне не приходит на ум ни гордиться ими, ни испытывать чувство стыда. Но вот необъяснимое ощущение, что они МОИ, что я происхожу от них, что это мой РОД, обогащает меня непрерывностью существования — чувством божественным.

Историю рода, подробности жизни моих предков, обычаи и обрядовость их веры я мог бы поведать несравненно точнее,

наведя необходимые справки у знатоков национальных и религиозных традиций. Не сделав этого, я понимаю, что совершаю и еще буду совершать неопишуемые ошибки. Вероятно, они даже покажутся оскорбительными для многих моих единоверцев. Но я молю их простить меня. Я сознательно ступил на эту ошибочную тропу, ибо намеренно исхожу лишь из моих чудом уцелевших воспоминаний, источенных молью времени и подернутых мутной пеленой забвения. Именно такими они мне и необходимы, хотя, признаюсь, порой я бываю уверен, что все это происходило не со мной и не при мне, настолько очевидна жизненная несовместимость всего ТОГО и всего нынешнего; по законам биологическим либо весь я должен быть отторгнут, либо все ТО должно быть отторгнуто.

К шаткому равновесию моего национального самосознания я привык. И если его не колеблют злобные посторонние силы, то мне даже по душе эта неопределенность: за мной всегда остается право непрерывного выбора. И я выбираю по-разному, в зависимости от того, где нужнее мое сомыслие и соучастие. Будь мир поспокойнее, вероятно, можно было бы числить меня ассимилированным, хотя словарное значение этого понятия – уподобление – претит мне. Малопочтенное занятие – уподобляться кому бы то ни было.

Моя любимая родина – Россия – то и дело содрогается от гула национальных угроз и рева ненависти к инородцам.

Ну что ж, тогда Бог с ней, с моей ассимиляцией. Я – еврей.

Русский еврей – с этим уж мне не расстаться никогда.

Первые в моей жизни похороны.

Умерла бабушка.

Ее смерть пронеслась мимо моей души и сохранилась в памяти лишь потому, что я постыдно вел себя на ее похоронах.

Бабушку хоронили по строгому религиозному обряду. Защитую голый в саван, тоненькую, длинную и прямую, как в жизни, ее вынули из черного гроба, покрытого черным покрывалом с вышитой большой шестиконечной звездой – ЩИТОМ ДАВИДА; гроб сняли с черного катафалка, запряженного вороной лошадей с черным плюмажем на лбу. Бабушку уложили на неструганную широкую доску, прикрыли сверху второй не-

струганной широкой доской и опустили в могильную яму. Ничего иного я не запомнил. Похоронный обряд состоял из чего-то еще, но мне было скучно, я устал, не участвуя в печали окружающих, и внезапно понял, что лицо мое по-дурацки беспричинно улыбается; сознавая все неприличие этого, я гримасничал, пытаюсь скрыть улыбку, но тут меня стал одолевает смех, он душил меня; ничего не было смешного в происходящем, но удержаться от смеха я не мог, единственное, что удалось сделать — прикрыл рукавом свое лицо.

Пожалуй, с этого постыдного дня следует числить начало моей сознательной жизни. Не зря же в память человека по-особому резко вчеканиваются те его поступки, которые он хотел бы вымарать из своей жизни или хотя бы позабыть их. Если же они преследуют его, значит именно с них и началось его сознание. Вряд ли первичные воспоминания о себе и для себя бывают связаны с гордостью за себя. Наоборот: знобит от стыда, порой даже от срама, лишенного подробностей, четкости причин дрянного поступка — от него отделяют тебя множество десятилетий.

...Фотография моего прадеда возбудила во мне жажду самопознания. Я вглядываюсь в его глаза, в не прикрытую бородой часть лица, выискивая, угадывая и выдумывая сходство со мной. Это мой прадед отцовский, тот самый, что изображен в картузе, лапсердаке, с рукой, положенной на книгу.

Блуждая в потемках родословной лишь для того, чтобы сбежать от воплей сегодняшнего дня, фланируя назло им, я натываюсь на всякую былую чепуху. А она-то, всякая чепуха, помимо моей воли, упрямо строила меня, и ныне, случается, внезапно выхлестывает наружу, приводя меня порой в отчаяние.

--- ---- ----

Никогда не возникало во мне такой внутренней императивности, словно ухватившей меня за шиворот и повлекшей к письменному столу, как в те два года, что я писал "Пятый угол". И хотя это было уже на излете хрущевской оттепели, я сперва не слишком задумывался, сгодится ли моя работа для публикации. А затем и вовсе перестал принимать это в расчет.

И тотчас замигали в моей душе огоньки освобождения, будто я — лунатик, хожу по карнизу крыши высотной башни, и вот сейчас взмахну руками, прыгну — и полечу!

Да простит мне Бог эту изысканность метафоры — искупить ее может лишь то, что временами я все-таки подумывал: прыгну, и разобьюсь к чертовой матери.

Но вообще-то, всякие практические соображения несколько не волновали меня. Существовало и вело одно-единственное — желание выговориться. В давнем письме моему близкому другу я обозначил мое тогдашнее чувство грубее: веление отхаркаться. Мокрота прошлого не давала мне дышать — это клиническое состояние чахоточного было свойственно многим моим соотечественникам. Вряд ли оно может быть понято человеком, живущим в свободной стране.

Однако рядом с этим социальным самочувствием было еще иное, не менее настойчивое. Я должен был рассказать о поглотившей и изломавшей всего меня бесконечно длинной любви. В моей памяти сплывались — хищное кровавое время и эта одуряющая, ошеломительная страсть.

Однако "Пятый угол" — не автобиография. Хотя немало потоков моей жизни впало, втекло в эту повесть. Когда я писал ее, то мне хотелось не приблизиться к себе, а отбежать от себя. Сам я не казался достаточно необходимым объектом для изображения. И дело тут вовсе не в скромности, которая паче гордости. Суть проще: главный персонаж, думал я, должен быть не писателем, — это ведь слишком редкая профессия, — а рядовым человеком, тогда все, что с ним и в нем происходит, будет точнее соответствовать времени, в которое он угодил. И безысходности его любви.

Закончив работу, очнувшись, что ли — я понял тотчас, насколько не в рифму, невпопад все у меня получилось. Не в рифму с эпохой.

И как ни странно, это меня отчаянно обрадовало. Писателю должно быть свойственно противостоять своему времени. Если он честен. А мне мечталось быть честным.

Но все-таки рядом еще продолжала теплиться надежда — а вдруг напечатают! Надежда истаяла: откуда моя рукопись отлеживалась в черновике, наша страна стала совершать такие крутые виражи, что впору было катапультироваться, чтобы остаться самим собой.

Сегодня смешно, до неловкости смешно. вспоминать: политика наша столь жестко видоизменилась, что моя повесть уже выглядела идеологически "не нашей", антипатриотической, диссидентской. И я не посмел отдать мою рукопись в перепечатку своей давней милой машинистке. Моя жена, впервые сев для этого за пишущую машинку, одним пальцем отстучала повесть начисто.

И оказалось у меня три неумелых экземпляра. Тем временем литература наша и жизнь наша вползала, как поезд в непроглядный туннель, в брежневский маразм. Стыдно было, со-вестно было по утрам открывать глаза...

За все время с момента окончания работы я один-то раз попытался показать ее в "Новом мире" — меня связывали с этим журналом добрые отношения, я печатался там неоднократно. Но "Новый мир" уже агонизировал — Твардовскому перекрыли кислород. Он ушел из журнала умирать.

С первого прочтения в дружелюбном отделе прозы "Нового мира" мне вернули рукопись.

Нет, не поймут сейчас даже, пожалуй, на моей родине, в России — не поймут, что я побаивался хранить дома эти три экземпляра. То есть хранить-то хранил, но перепрятывал по различным тайникам. А ведь трусом не был. И не поймут сегодня, что, давая читать мою рукопись людям, я вычислял, кому можно давать, а кому — чревато: сболтнет.

Среди тех, кому я безоговорочно верил, — и эстетике верил, художественному ее вкусу, — была Минна Дикман, незабвенный для меня человек. Прочитав "Пятый угол", — это было лет пятнадцать назад, — она смущенно посоветовала: попробуйте изъять из повести все антисталинское: когда-нибудь вы опубликуете повесть полностью, но сейчас жаль, что она будет просто лежать у вас в столе.

Поколебавшись, я согласился. Взяв длинные, подлые ножницы, стал ампутировать. Оставшейся культе я дал иное название: "Катя". Так зовут героиню повести. И эта "Катя" была напечатана в моем сборнике лет двенадцать назад; по размеру она составляет менее половины нынешнего "Пятого угла".

Кстати, это название — "Пятый угол" — придумано не мной, а одним из подпольных читателей рукописи. Он просидел в тюрьмах и лагерях особого режима семнадцать лет. Этот срок — семнадцать лет, звучит для нас сейчас так же привычно, как,

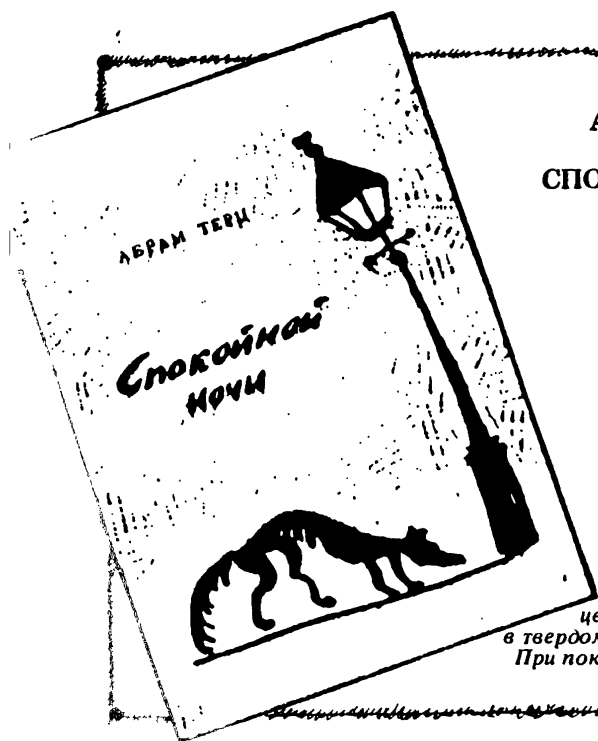
скажем, пять лет института или десять лет средней школы: мы произносим — семнадцать лет, и земля не вздрагивает под нашими ногами.

И вот этот бывший эзк, седой, беззубый, изогнутый пополам старик сказал мне: назовите свою вещь — "Пятый угол", я знаю, что это обозначает на их языке, испытал на себе...

Теперь я уже не жалею, что сперва появилась "Катя". Судьба отмерила мне в нынешнем году восемьдесят лет, и оказалось — этого вполне достаточно, чтобы ампутированное сошлось с культей.

Я выиграл по трамвайному билету — так принято у нас грустно шутить о людях моей Судьбы.

Ленинград



АБРАМ ТЕРЦ
СПОКОЙНОЙ НОЧИ

•
Роман
про сыщиков
и
разбойников,
про КГБ,
французенку,
Синявского
и
Даниэля

•
"СИНТАКСИС"
1984

цена 144 фр. фр.
в твердом переплете — 175 фр.
При покупке в издательстве
скидка 20%

Илья Крушник

НАУГАД

1..

Тропа свернула, и, раздвигая кусты, на тропу вышел низенький человек с тетрадкой. Он сипел — бинты на горле у него сползли и там была металлическая круглая бляха с дырочками, как микрофон.

“Я из 16-ой армии Рокоссовского”, — неровными буквами было написано карандашом в тетрадке. — “Они хотят, чтоб я весь дом завещал, а...”

— Хрен им! Хрен! — захрипело с жестяным свистом из микрофонной бляхи, и Женька, отпихнув протянутую ему раскрытую тетрадку, припустил быстрее прочь, вперед по тропе.

— Костя! — еще успел он позвать, только где Костя, увидеть не мог: из-за дерева его — по ногам, и прямо к носу масляная тряпка.

Сперва, не двигаясь, он поморгал, потом приоткрыл глаза, соображая, что не сидит, а полулежит, прислоненный спиной к штабелю дров.

Дрова были в сарае и слева, справа до самой крыши неаккуратными штабелями. А запах кошек, пыли и досок, сухой коры перебивался (и затухал...) вроде опять масляной краской.

Может, от этого воздух до того был плотный, даже в пупырышках, но висели в нем темные длинные, изгибаясь, полосы.

Были полосы — как вода. Едешь на парходике, медленно, медленно, медленно по реке. И вот дебаркадер. Деревянная пристань... Только очень много нищих.

— Бед-нень-кий. — Это, выходит, голос нищей. Но какой снисходительный... — А я все могу.

(Женщина — хорошо причесанная, ухоженная, в шелковом платье, только рук не видно и не видно у нее ног.)

— Мальчик! Маль-чик!!!

Он, действительно, полусидит в сарае спиной к штабелю дров. Перед ним на корточках трясет его за плечи девчонка, но совсем ненамного старше: лет, может, тринадцати с половиной, в черной с иностранными буквами майке и в джинсовых шортах.

— Ты меня слышишь?! Вставай, скорей!

Она вела его, коротконогого, она тащила за руку, как мама, по пыльной солнечной дороге. Он не вырывался. Справа было распаханное голое поле, слева еловый лес.

Непонятно сколькаметровые ели, почти что черные, переливались красным: висели гирлянды в ветках, будто новый год. То висели молодые, как бутоны, — по три штуки в стороны, — красные шишки: май шел к концу.

Он озирался, спотыкался. Лина (так ее звали) волочила его уже как куклу.

— Скорей! Скорей!..

Сзади, далеко, оставались крыши поселка, который они обогнули. А на светлой дороге у самого горизонта начали возникать выше, выше силуэты сперва одного, а потом и трех людей — высокие, точно они на конях...

Он бросился бежать по лесу, петляя между стволами, пригнувшись, протягивая пальцы, чтобы не напороться на ветки, раздвигая их на бегу. Несло отовсюду болотом, гниющей хвоей, а рядом дымом; мелькала и пропадала то дальше, то ближе за елями, соснами длинноногая Лина, и здесь нельзя было от нее отставать.

Наконец, он выломился через кусты, выплевывая, обтирая паутину рукавом, на просеку с опорами высоковольтных передач.

Тут было тихо.

— Лина, — позвал он, вглядываясь.

Не было никого.

Потом метрах, наверно, в тридцати проскакал нетороп-

ливо через заросшую просеку очень большой заяц. Издали он похож был на неуклюжую косулю.

— Ли-на! — в отчаяньи кричал Женька, озираясь. — Ли-на!! Где ты?! Я здесь! Здесь!.. Лина!!

2.

”На мосту встретилась я с отступающей кавалерией. Перил не было, я стояла на самом краю моста. Лошади неслись карьером прямо на меня по нескольку в ряд. Я заслонилась руками.

Доскакав до меня, каждая из них изгибалась. Каждая! Втискивалась в других лошадей, и ни одна меня не задела.

Офицеры кричали мне: ”Сестра, садитесь, там вам плохо будет!” На мне была еще косынка сестры милосердия, я сняла ее. Они промчались, грохоча, и я сошла с моста. Был весенний теплый день. Я дотащилась до Пластуновской”...

— Что, дальше читать?

— Читай.

— Нет, хватит с тебя! Вставай собирать банки.

Он встал послушно.

Банки были всюду: ржавые, вбитые в землю, даже коричневые, почти как грибные шляпки, другие блестящие, новенькие, взрезанные недавно, с выскребленными оттуда консервами. Кроме того бутылки. Они лежали в траве, самые разные, далекими кругами возле кострища, стояли бок о бок под деревьями или с размаху были разбиты вдребезги.

Он выковыривал палкой и поддевал сплюсненные банки, относил их в яму, скатывал кроссовками наши, круглые и иностранные, многоугольные бутылки. Лина сухими длинными ветками подметала бывшее кострище.

Наконец, они снова сели, оглядев напоследок (теперь было для Лины чисто), она на пенек, он напротив, на поваленный гнилой ствол.

”А ведь я это потом поняла, — продолжала она, еще перелистнув, — если сама поступаешь как все, — читала она, точно это сказка, — радости тебе все равно не будет, а если не будешь поступать как все, — будешь похожа на ненормальную”.

Лина (вот это хорошо понятно) была близорукая, пото-

му что сгибалась над листьями, худая, с торчащими большими коленками, и черные, как подрубленные, волосы свисали у нее прядями, лезли в глаза.

Но глаза были такие пристальные! До того настойчивые, светлые, когда она взглядывала на него сквозь пряди, что Женька ей тут же кивал: он был рыжий. (Однако! Он слышал и уже со многими подробностями, что у взрослого человека волосы очень часто темнеют, а конопушки вообще сливаются и даже образуют с возрастом красивый загар!)

Ох, а еще: до чего хорошо тут пахло... Под солнцем, одуряя, сияла белая-белая высокая кашка, такой душистый деревенский запах, а солнце грело и заливались они вовсю — наврное, соловьи?

3.

Когда я шел, а вернее, волочился по проходу в вагоне электрички, то никуда не глядел по сторонам. Бинт сполз на горле, только я не подтягивал его.

Потом включилась поездная трансляция.

"Уважаемые пассажиры, прослушайте объявление. В третьем вагоне электропоезда, — невнятно, скороговоркой читал молодой голос, — 24-го мая обнаружено самодельное взрывное устройство в черном полиэтиленовом пакете с белым профилем женской головы. Уважаемые пассажиры..."

Я прошел следующий, прошел еще вагон. "24-го мая обнаружено было на перегоне..." — опять, с перерывами бубнила по всем вагонам трансляция.

Верно, я рассмотрел этих ребят оттого, что увидел, как они переглядываются. На сиденьях или читали, или дремали, разве что эти двое слушали о подробностях.

Один поменьше, кругломордый, с носом-кнопкой. Рыжий. У второго незагорелое лицо, худое, и — очки.

Вот этот, в очках, показался старше, хотя возраст мальчишек я не могу теперь определить. Маленький называл его, так слышалось, "инженером".

Я ушел скорей в головной вагон. Я стоял на площадке, чтобы на станции выскочить первым и... Что еще?..

Пацаны... Скоро будет всем конец. Но меня не бойтесь! Хрен! Хрен им!

Они разбегались... — Они удирали от меня по тропе в разные стороны. А я не могу кричать. Почему, за что вы меня боитесь?! Я ведь тоже...

Ну, вот я — маленький. И я — рыжий!

Я тоже!..

Она вела, она тащила меня за руку, как мама. По солнечной пыльной дороге. И висели на елях шишки, красные-красные! Май шел к концу.

Я не вырывался. Потому что, действительно, она была моя мама — Полина, Лина! Девочкой мама похожа была на нее, у меня есть фотографии, она была почти такой...

Я стоял на тропе, а эти, родственники... Я видел ведь, как они повалили Женю. И, задыхаясь, я изо всех сил побежал к станции, назад. Пацан в очках, Костя-"инженер", оглядываясь, неся впереди меня.

"Подожди... — протягивал я вдогонку руку. — Стой!" А он убежал от меня.

Но куда убежать от собственной жизни... Старости своей сиротской, болезни моей, злобы этой родственников, а скоро мне конец.

"Подожди меня, ну, постой", — протягивал я ему вдогонку руку. Такой он был смекалистый... В умных очках.

4.

Я помог ему встать, когда он с ходу задел за сосновые корни, они, как ребра, вылезали поперек тропы.

Он стонал, а я, хрипя от бега, все ощупывал его колени, закатав повыше подвернутые у него тренировки, нет, не побил ничего, только кожу содрал на голених, это ничего, отряхивал его от сосновых налипших игл.

Потом он нацепил слетевшие очки и, держась за мою руку, шагнул, пробуя, еще шагнул, отпуская мою руку: нет, все было ничего, все ерунда.

Он прошел дальше, все же прихрамывая немножко, пошел и пошел. Обернулся. Старик, больной, с микрофоном в горле, уже не стоял, сочувствуя, позади, его больше тут не было.

Тогда, оглядывая эти высокие кусты, Костя осторожно повернул назад.

Наконец, засунув дрожащие пальцы в рот, боясь, что громко, свистнул. Жень-ка...

Даже черный пакет был Женькин!! Почему не белый, обыкновенный?! Не простой, как у всех?! Да еще с "профилем головы"...

И, нагибая голову, всхлипывая, стянув очки, вытираясь воротом расстегнутой рубахи, опять напяливая очки, вылез все ж таки на проселок.

По дороге трусцой деловито бежала только рыжая с белыми пятнами собака в ошейнике, за ней волочилась, ныряя в пыли, цепь. Собака явно была с соседской дачи, ее Костя, показалось, узнал. Он сидел на обочине в высокой траве и, больше не сдерживаясь, плакал.

На Женькиной даче, пустой родительской даче Женьки он ничего не придумывал, приносил, подносил!.. Он только подносчик, помощник, он — подсобник, не главный...

Старый-старый, маленький, похоже, что это "Запорожец" неопределенного цвета выехал медленно из-за поворота, тормозя и переваливаясь.

— Дядя, — закричал Костя, вскакивая, размазывая пальцами слезы. — Дядя, у меня нет денег, дядя, вы в город?! Ну, пожалуйста! Подвезите, пожалуйста, откуда. Дядя, у меня денег нет...

Шофер был седоватый и полный, с носом-картошкой, без правой ноги, это была его инвалидная машина. Он уже ехал быстрее, но собаку они не догнали, или она свернула куда-то. Шофера-хозяина звали Игорь Семеныч, он рассказывал не про десант в Крыму, в штрафной, а прежде всего про Иран, про городок Пехлеви 43-го (что ли?) или 42-го года.

— Нам на судне было приказано: строим! Только строим. Тут хватает белоэмигрантов, могут быть провокации. И построили на кирсе нас, и мы пошли.

Крас-но-флотцы,

— пропел Игорь Семеныч, —

Недаром песня льется,

— стискивая руль и наклоняясь в одну сторону, в другую, пел для него Игорь Семеныч.

Все мы други бурана, ветра, выюги,

Родные братья...

— негромким голосом, выворачивая то и дело руль, пел Игорь Семеныч.

5.

— Ты чего, спишь?!

— Иди ты... Это солнце в глаза. Я все слышу: записки твоей бабушки. Или что, прабабушки?

Лина согнулась опять, пальцами ища потерявшиеся строчки, потом... Пошла она медленно, а потом скорее через больничный подвальный переход к выходу... Держа под локоть тощего и почти уж совсем невесомого дядю Витю. Впереди, показывая им путь, катил пустую каталку усатый санитар в синем запачканном халате.

Они то и дело поворачивали. Мелькали сбоку, всюду железные двери. Все стены были в подтеках и все исписаны мелом, то большими буквами, то маленькими, только свет под сводами был тусклый.

Затем впереди, но сперва тихо, началась музыка, как будто там танцевали.

— Э-то... ч-то... — прохрипел со свистом через свой микрофон дядя Витя.

Санитар пожал плечами, не обернулся, однако приостановил каталку.

Оттуда, далеко, под больничными сводами, они выскакивали из-за угла! Они вертелись — разного цвета, яркие-яркие! — как волчки и бежали опять бегом по бетонному полу прямо сюда, навстречу! И вместе с ними громче, все сильнее гремела, надвигалась музыка.

— Своих пришли навестить, — сплюнув, сообщил санитар, когда, крутясь, все девчонки промчались мимо стоявшей с дядиной авоськой Лины. У санитара было испитое с недавно модными, вниз, усами лицо, но вовсе не старое.

— Хэви-мэтл я не одобряю тоже, — глянув на Лину, снисходительно подтвердил санитар. — Вот, к примеру, Бах, — объяснил он ей, — это с удовольствием, это орган.

Женька, прищурясь от солнца, рассматривал ее по-новой, Лину, и покосился на яму с бутылками, с железками, на подметенное вчистую кострище, все ж таки решил.

– Слушай, – сказал он, пробуя, – ты ж ничего не сечешь. Не твои уже родственники. Это совпало просто. Это бредовина. Обыскали, усыпив, и бросили. Родственники не хотели, чтоб я их запомнил, ясно? Считали, может, старик передал. Какое-нибудь заявленье. А нас-то, знаешь, кто разыскивает? И отчего?

Но она вовсе теперь не отзывалась (“не сечешь”, значит, не сечешь!), вроде сидела тут одна на своем пенечке, читала себе под деревом про весну – в Якутии теперь, а Женьки ни далеко, ни близко, пожалуй, начисто не существовало.

Снег был на земле. Везде снег. Но уже с мокрыми, очень частыми дырочками, и черные были проплешины, оттаявшие, прямо под ее ногами... Нет!!

“А я снова это, в который раз, поняла... – И перечитала вслух, только шопотом, для самой себя: “Женщины глупости совершают не от небрежности или легкомыслия, как “сильные мира”, а лишь когда очень они несчастны”.

6.

У лифта не зажигалась кнопка. Надавливал, надавливал ее, она не зажигалась. Костя с маху ударил тварь, кнопку, кулаком.

Полутьма тут была, как всегда, запахи все свои: вонючие на лестнице. Повыше тренькала там гитара, слышались голоса. Но плохо под гитару, лениво.

Мы живем для того,
Иль мы живем для того,
Чтобы завтра сдохнуть?..

Он дошел до своей площадки четвертого этажа.

Незнакомые совсем ребята сидели впереди на ступеньках один над другим. Маленький, рыжий и в веснушках щипал гитару. Если бы не как плоски, не такие вот глаза, это был точно Женька.

Он запер за собою на два поворота ключа квартирную дверь: мама на дежурстве, соседи в доме отдыха.

Он стоял в пустой кухне и выковыривал вилкой из кастрюли кусочки застывшего мяса. И жевал. Поискал еще пече-

ные на полке, но печенья не было. Тогда намазал кусок хлеба маслом, а сверху посыпал сахарным песком. Получилось как пирожное.

Во входную дверь — это Костя услышал отчетливо — вставили, но не попадая сразу, ключ.

Он оглянулся на полки, на кастрюли, на кухонные столы... Кроме картофельной толкушки (в руке она оказалась как деревянная граната) ничего не было потяжелее.

— Э-эй! Эге-гей!! — надсадным, не своим, басовым голосом закричал он, почти не высываясь в коридор. — Кого надо?!!

От входной двери двигалась по коридору совершенно прямо, но словно с закрытыми глазами, старушка в платочке.

— Так, — сказал Костя, выступая из кухни. — Здравствуйте. Это ж вам куда?

Она шла мимо мелкими шажками, не поворачивая к нему головы, выставляя вперед связку ключей.

Это была, он теперь узнал, жилищка из запертой дальней комнаты (она уехала давно к сестре и приходила — только как она подгадывает специально?! — когда не видит ее никто).

А уже темнело. Он давно сидел в своей комнате на подоконнике, обняв колени руками, и смотрел, уткнув подбородок в колени.

В доме напротив, одно окно и второе окно, и третье окно, и четвертое окно, — одно окно за другим — загорался свет. Все окна и все балконы были открыты. Голые по пояс мужчины, женщины в трусах и в лифчиках ходили там по комнатам или сидели за столами, дети мелькали всюду. На всех этажах.

Он разделся, кинув на стул, лег, но не на своей кушетке, а подальше, у мамы в кровати, где все пахло мамой. И зажмурил, наконец, глаза...

Ночью он проснулся, хотел встать и не мог — ноги утыкались в стенку!

В панике Костя стал отпихивать ее руками. Но просто стенка была не с той стороны.

Горел желтоватый свет, он не гасил (нарочно) настенную лампу: около стола по полу медленно-медленно ходила мышь.

Он надел очки и сел, застучав об пол босыми пятками.

Она не пугалась!.. Она подпрыгивала теперь рывками по кругу. Все по кругу... Может отравленная? Скорее всего.

Костя с размаху ахнул в нее шлепанцем, другим, чтоб провалилась.

Стало пусто. Он подобрал и обул шлепанцы, подтянул трусы, вышел в коридор.

Затем, спустив воду в уборной, хотел тушить свет и — придвинул пальцем к переносице очки.

Посреди коридора лежала на полу старуха на животе в белой и длинной ночной рубаше, раскинув в стороны крестом руки.

— Бабуля, а бабуля... — позвал он, — ты чего, а?... — И шагнул, нагнулся, принялся дергать ее, переворачивая к себе лицом. — Бабуля, ты что, а, упала?! Бабуля! Бабуля!! Вставай!

Она не поднималась. Тогда он принялся приподнимать ее за плечи.

Голова ее запрокинулась, и повисли седые прямые космы.

Она почему-то была очень тяжелая, хотя и маленькая совсем, и так близко чувствовал запах старого описанного тела и еще чего-то — как будто газа или, может, ацетона, разложения?... — жалкого, жалкого человека, но она была еще живая, не холодная...

Он тянул ее вверх, тянул, а старуха вдруг начала вырываться и с силой уперлась острыми кулаками прямо ему в грудь.

Костя постоял перед захлопнутой у носа дверью (идиот "милосердия"...), потом отвернулся и пошлепал в комнату к себе.

Когда он зашел утром принять душ, в ванне карабкалась торопливо, срываясь со стенок, пытаясь выбраться, наверно все та же мышь. Костя пробкой быстро закрыл слив, напустил в ванну воду. Потом отыскал на кухне пустую молочную бутылку, зачерпнул и поймал, наконец, мокрого зверька. Теперь она плавала стоймя в бутылке.

Он спускался по лестнице, неся помойное ведро и боясь встретить маму с дежурства, надо было сразу врать, что они с Женькой хорошо занимались, что готовились до вечера к алгебре.

Он донес до мусорного ящика ведро, вынул стоявшую бутылку. И положил бутылку на бок — пускай выползает.

Нет, я вовсе никуда не ушел: я просто стоял за деревом. Я умею ж еще ходить так тихо, тихо-тихо, чтобы не хрустнуло, и прочее, на всю жизнь, оказывается, научил, царство ему небесное, как говорится, старшина Быков.

Я шел за пацаном без шума, сопровождал параллельно тропке, я все крался, как "за языком", между деревьями, да и не видно ему оттуда за кустами, это мне его видно.

Когда отъехала машина одноногого Игоря, я вышел на проселок.

Пыль улеглась, я остался на проселке. Наконец, пересек его наискось... Потом быстро-быстро почти побежал т у д а.

Между деревьями навстречу мне мелькнула косынка, я остановился. Тетка какая-то в распахнутом от жары ватнике шарила, опустив голову, длинной палкой в траве. На ногах у нее были резиновые сапоги, и еще она держала небольшое ведро.

Я следил, как все ближе она подходит и шарит уже в кустах под тем с а м ы м деревом.

— А, — закивала она мне, — здравствуй, дедушка. (Только, по-моему, была она не моложе меня.) Ты гляди, а? — И показала почти полное ведро. — Земля-то была горячая, дождь пошел, вот опята и вылезли.

— Г-гу, — согласился я и еще смог: — Жа-рко. (Весна и вправду стояла — будто конец лета, очень, очень ранняя).

Я смотрел, потом слушал, подставив в ту сторону ухо, как затихают, как утихли ее шаги, потом шорохи...

Дупло было незаметным даже зимой: кусты стояли тут близко совсем к толстому дереву. Я засунул, торопясь, руку по самое плечо в дупло: все лежало на месте, слава богу!

Я вытащил и, прижимая крепче к животу, сразу спустился в яму, в двух шагах, и присел. Наверно, это была старая воронка от авиабомбы. А может, и нет. Но теперь меня ниоткуда не было видно.

Я сидел в яме и разворачивал быстро клеенку. Господи, ясно было, что не тронута. И все-таки... Ведь бывает, что забыл вложить. Так вот и бывает.

Я снял с трудом крышку с круглой жестяной коробки. "Копия. №... Настоящий ордер является единственным

документом, дающим право на занятие жилплощади...”

Есть. “Министерство обороны СССР... что... по инвалидности... пользование дополнительной жилплощадью... бессрочно”.

Есть.

Фу-ух. Может, я сошел с ума?..

Я сидел под чертовым этим солнцем на дне воронки, но не мог найти Удостоверение исполкома.

И, с яростью перевернув, вытряхнул все, что в большой этой коробке. На жестяном исцарапанном днище было четко оттиснуто непонятное слово в овальной рамке: CANCO.

Старая эта коробка была зоина, до самой смерти стояла она на подоконнике у нее. Клубочки какие-то, нитки, иголки втыканные, сложенные конверты — все барахло я убрал. На верхней крышке черно-голубые узоры стерлись. Может, была это когда-то жестянка от конфет или печенья, что ли, нерусского.

Методично и сдерживаясь, я начал выбирать из кучи и аккуратно откладывать справки в одну сторону, остальные бумаги в другую, в траву.

В общем, было оно тут. Удостоверенье.

Теперь успокоенно я читал письмо:

“Здравствуй, дорогой Витя. Твои два письма я получил, вчера от 29, а позавчера от 27. Я тебе напишу по порядку, но все-таки многое не напишу, потому что не пропустят. Особенно пережили мы в октябре и в конце ноября. Почти все время ежедневные “гости”, и у нас все в доме дрожало. 21/XI утром немцы вошли. Одеты они были очень плохо, на редком можно было встретить шинель или сапоги, почти на всех френч, брюки и краги, ботинки. Но появлялись уже немцы в наших ватниках, шубах и в бурках”.

Я приблизил письмо к глазам. Почерк был совсем неизвестен, мелкий, но ясный, чернила не выцвели, хотя бумага изменила цвет, а дата наверху: 8/V-42.

“Первым делом они принялись за склады (я не вру, потому что я сам это видел). На улицах можно было подсмотреть следующую картину: по мостовой едет телега, нагруженная грязными одеялами, патефоном, пластинками (особенно искали “Катюшу”), пачками с табаком, швейной машиной, недоделанной обувью, детскими игрушками и другими вещами,

на которые ни ты, ни я даже и не посмотрели. А за телегой идут три дубины в одних френчах, дырявых ботинках, в краденых меховых шапках и с гранатами за поясами”.

Я перевернул страничку, дочитав.

”Ты или твоя мама знаете д-ра Рождественского. Так у него расстреляли всю семью без исключения. Около нашего дома подстрелили из автомата девочку и старуху без всякой причины. А нашего соседа, армянина, убили за то, что он ”еврей”. Но они разве одни. У нашей знакомой замучили зятя. Так они нашли только куски его тела”.

Письмо было убористое, на двух страничках и с обеих сторон. О том, что за считанные недели всей оккупации и боев за город сгорели Китайский и Рыбный гастроном, и Динамо, и дом напротив горсада, и рядом, и против гостиницы, и на Московской и др. ”А после освобождения ходили на оборонные работы, каждый должен сделать 5 м³, хотя я освобожден по состоянию здоровья и с 20/IV-42 поступил в техникум”.

В техникум... Значит, Зоя сохранила зачем-то письмо. Я его переслал, вероятно, из госпиталя ей в эвакуацию. Мы ведь с ней учились в одном классе.

”В техникуме мы проходим общеобразовательные предметы. Но остальное о т-ме в следующем письме. Где Валька, я не знаю. Узнаю — напишу. Мая хотела узнать через Юрку Федорова, что выйдет, не знаю. Сергей сейчас, с 8/III, в 209 стрелковой дивизии на станции Харанор на границе с Манчжурией. До этого он написал из сборного пункта из Читы”.

Сергей... Кто такой Сергей? И кто такая Мая? Кто такой Валька? Кто такой Юрка Федоров?! Я не помню никого!!

”Из трофеев я достал батарейку для карманного фонаря ”Blitz 64, 5 v”, т.к. света у нас нет, то я буду пользоваться ей по ее прямому назначению. До свиданья. И.М...” И — закорючка.

До свиданья. Чье это письмо? Кто это И.М — закорючка?.. И откуда всю жизнь была у Зои нерусская жестяная коробка из-под конфет или, может, из-под печенья?

8.

Когда смотришь в бинокляр (это такая увеличивающая штука, чтобы видеть обоими глазами), то даже муравьи там

точно животные громадного роста, не нашей планеты. Они, как бронированные, и блестят, ярко-коричневые, у них длинные-длинные и ясно твердые, суставчатые ноги. А у полосатых ос волосы белые, огромные, толстые и редкие, очень страшные.

Зато пауки, наоборот, не страшные, а самые красивые. Желтые с красным и не как живые, а как нарисованные, до того они кажутся, выглядят замечательными, и ты даже веришь, что это правда, что они замечательные!

В "масляной" тряпке, понятно, был какой-то наркотик. Потому: то проясняется, все светлеет в голове, то в дурмане.

Вот, снова открыл глаза, и ты один у подметенного кострища. Лес незнакомый. За что... Почему, куда она ушла, ненормальная...

Очень близко, почти рядом лежит мертвый голубь. Он лежит как человек: на спине, лапки поджаты у него к груди, только разве — не крест-накрест. И ползают навозные мухи. Они отливают под солнцем металлом: бирюзовые, ярко-зеленые или синие. Бинокуляр...

Женька мотает изо всех сил головой и, цепляясь, уцепившись, наконец, за поваленный ствол, встает на колени. Потом во весь рост, озираясь: стоят опоры высоковольтных передач. Между ними в обе стороны уходят по заросшей просеке толстые, немного обвисающие к середине провода. В какую сторону идти?..

Был очень странный сон (или это дрема?), что все телефоны-автоматы испорчены. Он мечется, но все мимо кого-то, который продает использованные кирпичи для стройки и саманные брикеты (почему "саманные"? Никогда их не видел). Но даже в больнице на столике телефонная трубка была тоже срезана. А когда выскочил только: снова автомат. Но не идут монеты. Он их впахивает с трудом: копейка, еще копейка, еще копейка, две копейки, трубка не отвечает. Он вытаскивает монеты назад: копейки выходят цепочкой, как намагниченные, друг за другом, и на самом конце винтовочный патрон.

Но он ни в чем не виноват: он сам разрядил перед этим — Костя подтвердит — бомбу! Есть ведь бандиты, рзкетирьы, террористы, а он только — попугать! Самое интересное: как они выдвигают версии, как отбрасывают версии (операция МВД "Поиск" или еще лучше "Белая женская голова")...

Все ж таки. Эта просека с опорами может идти ведь на

километры. Без людей. Надо к дороге, надо к деревням, к железной дороге. Ориентир: если б пересекла, утоптанная была тропа... Нет никакой выдумки у людей. Никакой. Не улыбнутся. Никто не понимает, нет ничего.

9.

Он разглядел дощечку с надписью издали, она прикручена, наверно, проволокой к березе. Вблизи дощечка была, скорее всего, прошлогодней, буквы потекли от дождя и снега. Под березой банка валялась.

Внимание!

В связи с установившейся высокой горимостью лесов запрещается в лесу разводить костры.

Исполком Облсовета
Депутатов Трудящихся.

Он смотрел, дыша поглубже, на эту дощечку, переводя дух от усталости, и перечитывал ее, пока она не начала вдруг тлеть и сразу обугливаться.

Женька зажмурил крепко глаза. Потом открыл их: дощечка дымилась.

Он пописал в банку и выплеснул все на дощечку. Она больше не обугливалась.

С дощечки стекали капли, она вся была как прежде.

Женька прилег в траву под березой. Утоптанной тропы не было. Зато впереди были домики.

Маленький странный город стоял на холме. Домики, похожие на скворешни, обнесены были заборами. На крышах круглые деревянные шары. А позади или рядом с каждым домиком высокий столб, как пограничный на картинках: косые черные с белым полосы. Наверху вырезанные из жести серп и молот. И пятиугольная звезда.

Как семафоры, от каждого столба клонились флаги. Они развевались по ветру. Их были сотни, флагов: рваных, выгорелых добела, розовых или совсем еще красных треугольных флажков.

Это было якутское кладбище. Бабушка Лины рассказывала в записках так здорово, будто ты сам видел собственными глазами.

Им, ссыльным, не разрешалось раньше выходить из поселка. Но уже была весна 54-го, целый год уже ожидали...

Кладбище, оно было прекрасным! Оно было необыкновенным: чистым, красивым, торжественным. Именно оно было подлинным, а не поселок с хотонами для скота, облепленными навозом, с чахоточным отовсюду кашлем из-под плоских крыш.

А на разноцветных домиках — желтых, голубых, синих (больше всего было синих) — сверкали настоящие крыши, оббитые старательно жостью, настоящие аккуратные окна, настоящие к домику ступени. И смотрели овальные портреты: много молодых и красивых, длинноглазых людей. Со всех сторон.

Смотрел веселый Куприян Иванович, учитель Мархинской школы, смотрел старший бухгалтер Дмитрий Федорович, старик Емельянов Степан Афанасьевич, родился в 1-ом Жарханском наслеге. А вот и Пан-си-ха Николай, тоже старик, из провинции Шаньдунь в Китае. Только за ним стоял не домик, а деревянная кровать ребенка.

Дальше была пирамидка в снегу, под которой лежал такой же, видно, как она, потому что на боку пирамидки — чтобы не очень заметно, чтобы не увидели и не замазали (он, наверно, просил написать, и исполнили) — написали криво черной краской: "Не в силе Бог, а в Правде".

10.

Я сидел в яме и обматывал потуже веревкой коробку, затем в целлофан ее и, наконец, — клеенка. Потом я вылез из ямы.

От солнца было повсюду душно, парило, палило сквозь ветки, но запах (изредка) не хвои вовсе, а больше, что ли, диких роз? Хотя никаких роз близко не было. Или мне было не заметно. Это в молодости, почему в молодости, раньше, пацаном: дендрарий, каникулы, тишина, цветы везде, небо ясное. Самое начало каникул... Это теперь ты знаешь: единственный день (неужели единственный это был день?) — счастье. Не нужно ни куда, ни за чем, ничего.

Комары летят: вью-ю-ю. Облепляют и тычутся. В пиджак. Ниже, ниже по рукаву: дырку ищут. Один ладонь, наконец, нашел, ему подставленную. Погрузил нос. Глубже, еще глубже. Раздувается брюхо, раздувается серо-красное, наполняется моей кровью.

Вот скажите вы, кому меня будет недоставать? Чья, любая, жизнь от этого будет хуже?.. Или будет она бедной? Без меня.

Если б жила Зоя, – другое. Мама, люди хорошие, товарищи какие-нибудь... В общем, слышите, это правда: хочешь долго жить, представь заранее, подготовься ты заранее стать старым! Потому что все наоборот: тело переживает душу, тело – оно живет. А к чему?!!

И, подняв над головой обеими руками завернутое в клеенку, я изо всех сил кинул коробку в яму.

Всю свою жизнь я подчинялся. Всем подчинялся. Всем! Я не решался. Я не смел. Я про-подчинялся и про-боялся всю свою жизнь.

А когда-то, это было давно. я знал, еще пацаном и не только, был уже старше, что я, я -- могу. И все станет. Именно – как захочу! Я не сумасшедший, а я – м о г у.

Нас с матерью когда-то выселили из квартиры за город. И я плакал. Больше ничего. Построились кое-как, стали жить. Почему я не поднял палец: чтобы было, чтобы стало как я хочу?! Я так бы и сдох, уже не веря, не испробовав никогда.

Я пошел от ямы вперед и побежал зигзагами сквозь лес. Приостановился.

Я сижу на руках у мамы моей Полины, а в пыли по булыжнику мостовой с трудом, медленным, не широким шагом мимо нас идут усталые красноармейцы в мятых зеленовато-желтых фуражках, в выгорелых гимнастерках и поют:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов

Мама Полина меня прижимает все крепче. Они поют.

И как один умрем
В борьбе за это!..

Я подпрыгиваю на руках у мамы и кричу радостно, я машу им рукой.

11.

Кончился лес, началась поляна, потом перелесок, сосны. Снова лес, я все бежал, ковыляя, вперед.

Зло было повсюду: в лесах, в оврагах, полях. Но я не боялся. Я вообще никого не боюсь! Появилось такое чувство, что меня не убьют. Никакие родственники, нет!..

Вокруг все больше обкатанных камней, на них желтые и вперемежку зеленые пятна краски. Лишайники. Я должен... Но я опять не могу бежать. А я должен!

Впереди мелькает что-то.

Автомата у меня нет, но я ложусь плашмя, прячась за валун, выглядываю.

Это дети. Они идут, как взрослые в лесу, идут цепочкой. И "сидора" у каждого из них за спиной...

Опомнись. Витя, это просто дети. Просто дети?..

Ну, хватит с меня. Смотрите: они вообще не такие, как мы. А мы — не такие, как они! Понятно? Мы разные н а р о д ы. Вот мы почему воюем. Всю эту жизнь. И только автомата у меня нет...

Впереди там ровная поляна. Деревья пореже, и мне видно: они собираются с вожатым устраивать привал.

Знаете, чтобы стать мужчинами, надо действительно, надо всегда ходить. Марш-бросок! Идти и идти. На марше.

Я гляжу: лица мелькают. Снуют. Рюкзаки лежат кучей. Уже носят хворост, другие отвязывают ведра. Мальчишки, девчонки, городские, не подростки еще.

Какие лица у них... Разные, подвижные.

Как у обезьян. Вот она где, личина!

Милые лица... Не поддавайся, Витя! Ум лукавый, озорство, улыбки...

Какие они красивые.

Ну, а что с вами будет дальше? Разве я не такой был, как вы?!

Нет. Нас было больше таких, как вы. У вас — куда меньше. Господи... Ребята. Ребята, не поддавайтесь! Слышите, я поднял палец!

— Ау, — говорят негромко у меня за спиной. — А-уу! Дядя Витя, ты чего тут делаешь?

Надо мной сидит Лина на корточках, рассматривает меня с осуждением.

— Я... — говорю я и сажусь. — Я... гу-ляю.

— Далекое ты гуляешь. По-моему, — замечает Лина. — Таблетку ты свою принял?

”Принял, — объясняю я знаками, — ладно, все принял, пошли отсюда”.

Я взял ее за руку и, оглядываясь на их еле-еле разгорающийся на поляне костер, мы пошли отсюда.

— Знаешь, — говорит мне, раздумывая, племянница, — что такое ошибаться?

— Н-ну?

— Это когда ты медлишь, а надо решать быстро! Понял, быстро. Или хуже, торопишься, а надо было, надо было не спешить.

— Ка-ка-я ж ты муд-рая.

— Это не я, это твоя мама.

”Все читаешь?” — поясняю знаками, как бы листнув.

— Да, читаю. А что ж мне делать. Ты, прости меня, дядя Витя, ведешь себя прямо как... Ну, конечно, считается, все, почти все мужчины — дети, которых надо утешать и опекать. А я, я просто дура. Я упрямая дура.

— Т-т-ты?

— Дядя Витя, мальчишки, они ведь всегда чего-то заряжают или чего-нибудь разряжают. Это ж правда?

— Э-то п-рав-да.

12.

В той стороне никакого Женьки явно не было. И от просеки они стали спускаться к реке. Что-то нигде его не было.

Всюду на соснах торчали вверх белые свечки: тоненькие свечки сосновых шишек. Коричневато-бледные сосны тут были сплошь в белых свечах. И очень пахло, удушающе, сосной.

Сзади покорно шел дядя Витя. Лина оглядывалась, не слыша его, вдруг казалось ей, что она одна.

Спуск становился круче, сосны редели, редели, а потом исчезли, наконец.

Обеими руками Лина раздвигала уже траву, которая всходила вверх выше пояса. И теперь хорошо стала чувствоваться река. Если хотите знать, вообще-то жизнь это одиночество. Только... дядя Витя... Дядя Витя! Слушайся меня.

Дядя Витя шел послушно, и он старался не отставать. Конечно, он был слабым. Быть взрослым это ведь вовсе не утешенье. Можно вырасти и не стать сильным все равно.

Правда, такое было тоже несправедливо... Может, другие были куда лучше, куда умнее! Но ведь он-то, он превозмог боль.

Лина скользила, оступалась на мокрой глине, взмахивая руками. Впереди во все стороны густо-густо тянулась осока.

— Дядя Витя, знаешь мы куда пришли? Это родильный дом.

Над осокой летали сплошь синие бабочки, и дядя Витя, вертя голову, глядел на них.

Лина — дядю Витю она не стеснялась — вытащила и надела очки.

Это, действительно, были вовсе не бабочки, а только что рожденные стрекозы.

— Во всяком случае, я так считаю, — сказала Лина. — Вот, мы уже старики, а это, видал? — новорожденные. Ну, вроде как новые люди.

Новорожденные успокоились, наконец, присели на осоку над рекой, как синие цветы. Крылья у них были темно-синие, а тело вовсе не такое.

— Зинчик, зинчик, — позвала, развеселившись, Лина и показала им палец.

Они сидели, не двигаясь, на узких листьях. Некоторые — низко опустив глазастую голову и задрав свой длинный "хвост", а другие — нет.

Москва



СКОРБНЫЙ ЛИСТ

15-го августа 1990 года

УМЕР БОРИС ШРАГИН

В Борисе Шрагине мне нравилось многое, начиная с его фамилии: Шрагин. В ней звучали и "брага", и "шпага", и "шарага", и какие-то решительные шаги. Было в ней что-то воинственное, и довольно воинственным человеком был сам Шрагин — диссидент, инакомыслящий, один из основателей правозащитного движения в Союзе.

И еще он был джентльменом — презирал душевную неопрятность, вступался за обиженных, причем не только на родине. Когда в одной эмигрантской газете появилась лживая и пошлая статья с нападками на священника Михаила Меерсона-Аксенова, Шрагин написал резкий ответ на эту статью, а когда тогдашний хозяин газеты отказался его напечатать, Шрагин сказал мне: "Уходи из этой богадельни". И я ушел из редакции, в которой проработал два года: не хотел выглядеть подонком в глазах Бори Шрагина. Так нас, вроде бы, связала судьба.

У Шрагина было много друзей, он любил их, и они его любили, и он иногда говорил мне: "Больше всех из диссидентов тебе бы понравился Юлька Даниэль — он был герой, человек чести, любил выпить, нравился женщинам".

Шрагин был энциклопедией правозащитного движения, которое он знал изнутри и которое вовсе не идеализировал: он цепко подмечал человеческие слабости, умел смеяться над людьми и в первую очередь, конечно, над собой. Я часто говорил ему: "Напиши книгу о семидесятых годах, причем со всем смешным, забавным и нелепым, что было в вашей среде — со всеми конфликтами, провалами: :: разочарованиями". И Шрагин хотел, а главное — мог написать такую книгу: у него была зру-

диция, юмор, вкус к слову. Не случайно с ним долгие годы дружил Андрей Синявский, человек сложный, замкнутый и остроумный.

Шрагин был единственным знаменитым человеком другого поколения, с которым я сразу и легко перешел на "ты". Встречаясь и тут же закуривая, мы часто рассуждали о том, что неплохо бы бросить курить. В последнее время он хотел съездить в Москву, все говорил, что надо повидать Леонида Баткина, и уже даже начал собираться, но опять-таки не успел, не вышло, не получилось. Я надеюсь, что в Москву вернутся его книги и статьи, а главное — память об этом подлинном, храбром и чистом человеке.

С. Довлатов

24-го августа 1990 года

УМЕР СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

До сих пор нам везло: никогда не приходилось писать об умерших друзьях. Смерть, казалось, всегда приходит к другим, умирал всегда кто-то за пределами нашего круга, очерченного тем самым легкомыслием, за которое нас вечно бранил Сергей Довлатов.

Но вот он умер. И теперь не совсем понятно, как быть дальше. Уж очень как-то не по себе от того, что больше не будет этого огромного, шумного человека, с которым мы прожили почти все эмигрантские годы, с которым затевали столько веселых дел, открывали (и закрывали) газеты, работали на радио, проводили время в застольях, столько болтали, дурачились, дружили.

Может быть, здесь неуместно писать про веселье. Но Довлатов слишком ценил юмор, чтобы последняя трагедия в его жизни перечеркнула главное в характере Сергея: доверие к миру, легкость в отношениях с людьми, убежденность в том, что

не бывает одной черной краски. Хотя какая же еще краска подходит смерти?

Мы познакомились с Довлатовым в 79-м, как только он приехал в Америку. С первой минуты он очаровал нас, провинциалов, аристократичностью манер. Довлатов был всегда и везде уместен — даже когда его было слишком много.

В тот первый нью-йоркский вечер мы шли с ним по опасной 42-й стрит, где он, как, впрочем, и всюду, возвышался над толпой, в которой было немало сутенеров и торговцев наркотиками. Подойдя к самому страшному из них — обвешанному цепями негру Сергей вдруг наклонился и поцеловал его в бритый череп. Тот посерел от ужаса, заклокотал что-то на непонятном языке, но потом улыбнулся. А Довлатов прошествовал дальше, не прерывая беседы о своем любимом Фолкнере.

Это к тому, что к Сергею нельзя было относиться плохо — даже тех, кто на него обижался, надолго не хватало. Вот и наши отношения не всегда были безоблачными, случались времена разлада. Но по-настоящему ни ссориться с ним, ни сердиться на него было невозможно — уж очень яркая это была личность. Сколько раз мы видели, как заворуженно слушали эту сирену даже самые яростные недоброжелатели.

Довлатов был талантлив — явно и размашисто. Его одаренность проявлялась в самых разных сферах. Он был великолепный рассказчик. Легко и остроумно писал стихи на случай. Ловко рисовал точные карикатуры и шаржи. Даже иногда вдруг пел — и это получалось неплохо. Даже готовил изобретательно — хотя презирал кулинарию.

Везде, где бы ни появлялся этот почти двухметровый человек с внешностью восточного киногероя, возникала атмосфера праздника. Те, кому, как нам, выпало счастье общения с Довлатовым, знают, что это был человек-театр, человек-универсал, безгранично щедрый — в том числе, и в прямом смысле — в раздаривании своих способностей.

Его знаменитые истории, которые стали уже легендарными в Ленинграде, Таллинне, Нью-Йорке, сделали Довлатова чуть ли не фольклорным персонажем. На него ссылаются посторонние, как на Райкина или армянское радио. Бывает ли у литератора большее признание?

Но главным, разумеется, была для него проза, литература. Писательство. Самой дорогой для Довлатова книгой был

джойсовский "Портрет художника в юности". Его увлекал убедительный показ того, как человек слой за слоем снимает с себя все социальные и личностные функции, оставляя лишь одну — быть писателем. Для Сергея этот образ был идеалом. Недостижимым, что он и сознавал, обладая множеством нормальных человеческих слабостей. Хитросплетения отношений между людьми увлекали его не только как материал для будущего сочинения — он погружался в них с непосредственным интересом, мог часами обсуждать достоинства и недостатки знакомых. Но потом, в чем мы не раз убеждались, то ли прямым, то ли косвенным образом все это как-то всплывало в его прозе, даром ничего не пропадало.

Довлатов был писатель по преимуществу, по способности перевоплотить все, что встречал на пути, в слова. Слову он поклонялся и часто делил людей по качеству словоизъявления. Сам он словом — как устным, так и письменным — владел виртуозно.

Сейчас нам остается лишь письменное. Как ни ужасно это сознавать, Сергея будут помнить по текстам: он станет просто писателем Довлатовым.

Он умер в звездный час, на пороге славы. Его книги возвращаются на родину, старые друзья читают его в тех самых журналах, где он не мог печататься, живя дома. Он стал, наконец, тем, кем мечтал быть: русским прозаиком — не больше, но и не меньше.

В его рассказах и повестях то редкое и счастливое попадание в точку, та точность, которую он считал величайшим достоинством писателя, то изящная артистическая легкость, которая заставляет читателя забыть о листе бумаги, услышать живой баритон автора. И тут нельзя впасть в заблуждение, решив, что Довлатов просто следует за потоком жизни. Столь же просто, сколь и непростительно счесть его тексты "кусками жизни". Проза Довлатова придумана и сконструирована от начала до конца, она "искусственна" в самом высоком художественном смысле — от идеи до запятой. Не зря если что и ненавидел Довлатов, так это опечатки.

Сейчас, как всегда бывает с умершими, мы научимся видеть в довлатовских сочинениях то, что не умели разглядеть при жизни. Мы услышим чеховскую интонацию в этих смешных, но и отчаянных рассказах. Убедимся в том, что Довлатов

подарил современной русской словесности блистательный юмор и непревзойденный по мастерству язык.

Поклонники воздадут ему по заслугам за тот грандиозный труд, который он вкладывал в каждую строчку, в каждую букву. Мало кто замечал без подсказки, что у него нет фразы, в которой попадались бы слова, начинающиеся с одинаковых букв — так Довлатов затруднял себе процесс писания, чтобы не срываться на скоропись, чтобы скрупулезно подбирать только лучшие слова в лучшем порядке. Как-то мы расхваливали ему достоинства своих компьютеров и посоветовали купить такой же. Чтобы писать быстрее. Довлатов ответил: "Вся моя задача заключается в том, чтобы сочинять медленно. Я бы хотел или высекать слова на камне, или писать вилами по воде".

Он был мучеником языка, его заложником.

Но нам никогда не приходилось — и теперь вряд ли придется — встречать человека, который мог бы сказать, как Довлатов: "Какая незаслуженная милость — я знаю русский алфавит!"

Дикая нелепость: он умер на 49-м году жизни. Но нам, читателям, не приходится жаловаться. Довлатов успел оставить дюжину тонких книжек, из которых сложится одна толстая. И она останется в русской литературе навсегда.

Но как быть без Сергея? Без его обидного сарказма, без его кавказского презрения к скупости, без его любви к чужому таланту, без его красивой жизни, которую он прожил так, как хотел — только слишком, невыносимо слишком быстро.

В одном из лучших рассказов Довлатова есть такая фраза: "Жил, жил человек и умер. — А чего бы ты хотел?" — спрашивает рассказчик, которого зовут Сергей Довлатов.

Мы хотели бы, чтобы этого не было. Чтобы нам не привыкать к глаголам прошедшего времени каждый раз, когда мы будем его вспоминать.

Но кто нас спрашивает...

П. Вайль, А. Генис

9-го сентября 1990 года

**УБИТ
ОТЕЦ**

**АЛЕКСАНДР
МЕНЬ**



Éditions

ATHENEUM

10 bis, rue Duhesme 75018 Paris
Tél. : 42.62.14.21

предлагает новую книгу:

МИНУВШЕЕ. Исторический альманах. Том 10. 512 с.

Воспоминания

Ю.В. Ломоносов. В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ. Ноябрь 1919 — январь 1920. (Отрывок из воспоминаний и неизданная корреспонденция В.И. Ленина). Публ. Хью Э.Эплина

И.М. Гронский. БЕСЕДА О ГОРЬКОМ. Публ. М.Никё

К.Зелинский. ВЕЧЕР У ГОРЬКОГО. (26 октября 1932 года). Публ. Е.Прицкера

Из истории литературной жизни

ИЗ ПЕРЕПИСКИ В.И. ИВАНОВА С А.Д. СКАЛДИНЫМ. Публ. М.Вахтеля

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Ю.К. ОЛЕШИ С В.Э. МЕЙЕРХОЛЬДОМ И З.Н. РАЙХ. Публ. Э.Гарэтто и И.Озерной

В.Нечаев. МУЗА 41°.

М.Агурский. ГОРЬКИЙ И ЕВРЕЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА М.С. АЛЬТМАНА. Публ. В.Д. и К.Л.-Д.

Из истории театра

В.Дыбовский. В ПЛЕНУ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Предисловие А.Смеляского

В.А. Гринер. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О С.М. ВОЛКОНСКОМ. Публ. Вяч.Нечаева

Материалы по истории кино

Николай Анощенко. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. Публ. Р.Янгирова

Александр Дигмелов. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД. Публ. Г.Тушмалишвили, Ю.Цивьяна, Р.Янгирова

ИСТОРИЯ ИЗДАНИЯ ОДНОЙ КНИГИ. (Переписка А.А. Ханжонкова с В.Е. Вишневским). Публ. В.Мыльниковой

В.Степанов. КИНО В КИНЕШМЕ. (Краткий исторический обзор). Публ. В.Ивановой

Цена книги: в мягкой обложке — 150 фр.фр.
в твердом переплете — 195 фр.фр.

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>Вл. Новиков.</i> Неуместное	3
<i>М. Золотоносов.</i> Над пропастью во лжи	13
<i>Виктор Ерофеев.</i> Русская щель	39
<i>М. Холмогоров.</i> Подвиг	43

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

<i>А. Штейнберг.</i> Л. Шестов	44
--	----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

<i>Марк Харитонов.</i> Об искусстве как о способе существования	83
<i>Дм. Молок.</i> Opuscula (Семантологические прогулки)	109
<i>Вадим Линецкий.</i> "Когда погрывают эпоху..."	118

В САДАХ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<i>Л. Петрушевская.</i> Смысл жизни	126
<i>Игорь Померанцев.</i> Отдых на юге	129
<i>Б. Улановская.</i> Путешествие в Кашгар	137
<i>И. Меттер.</i> Автобиография	166
<i>И. Крупник.</i> Наугад	180

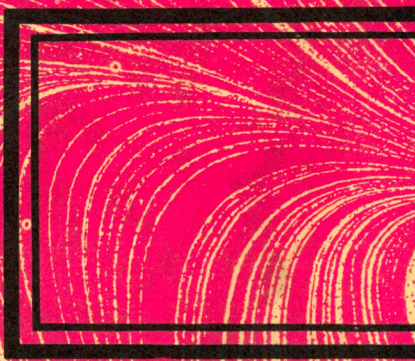
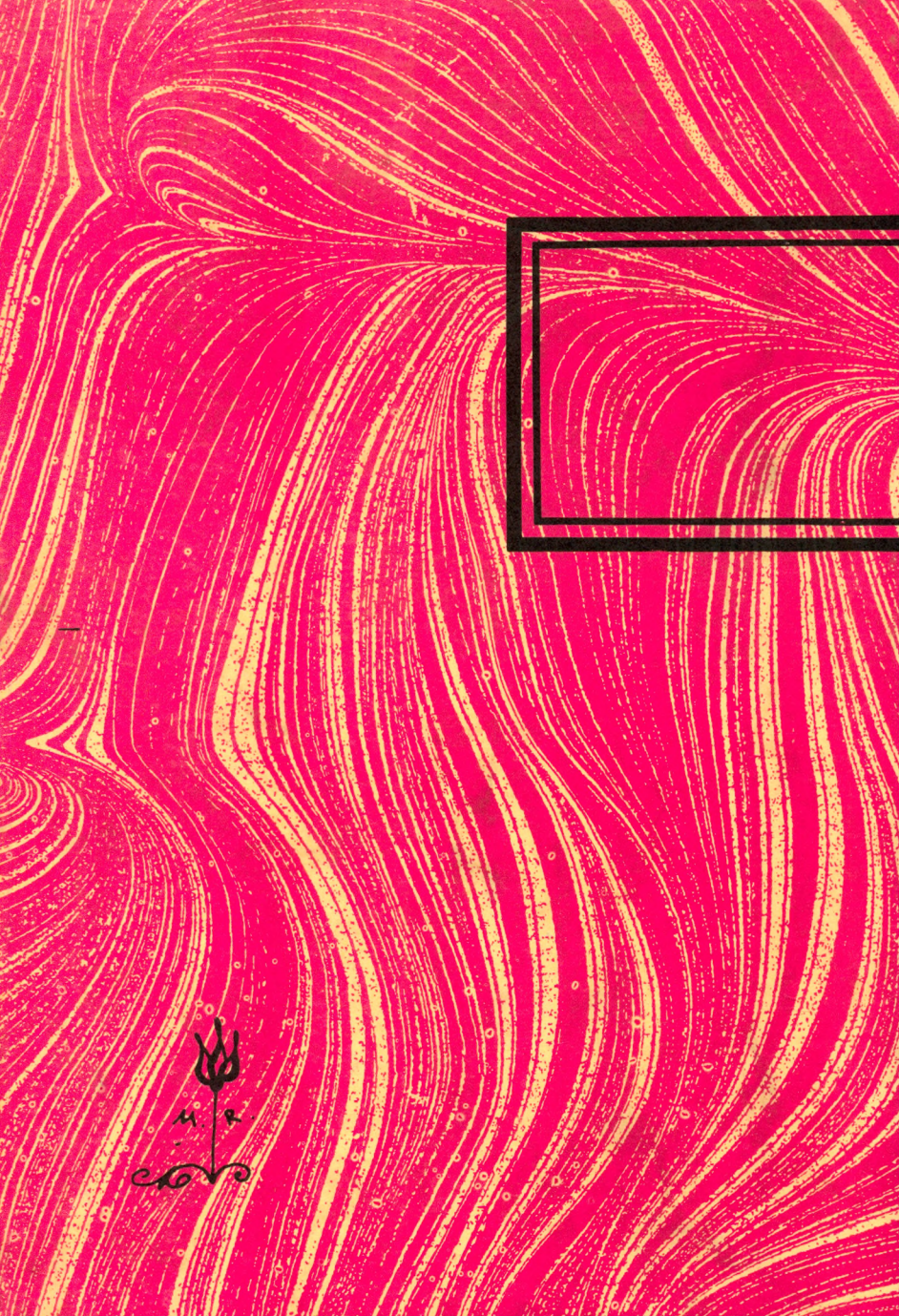
СКОРБНЫЙ ЛИСТ	200
--------------------------------	-----



Цена номера 70 фр. фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 250 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.



M. R.